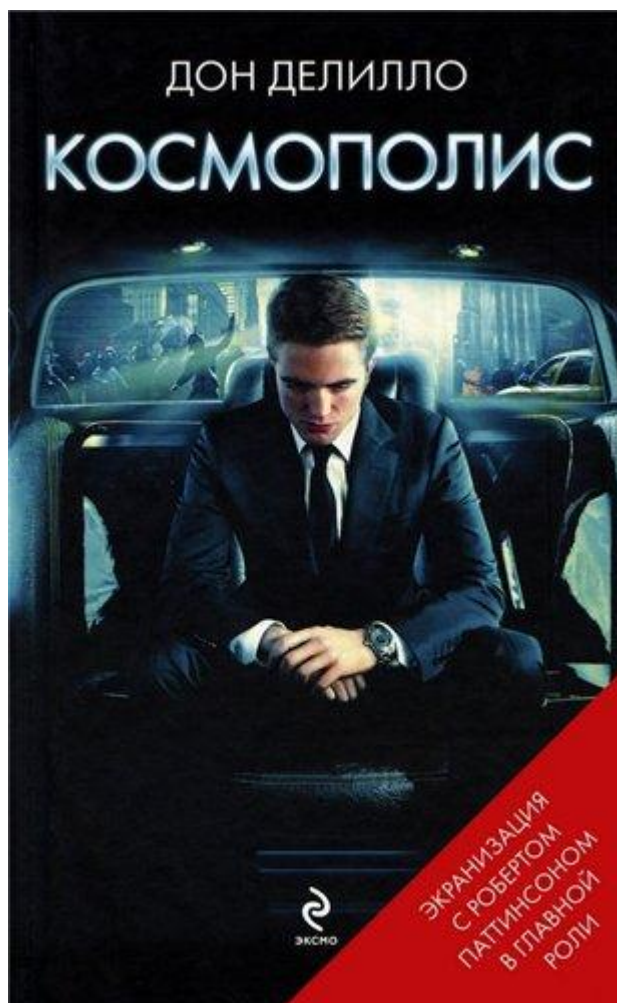


Дон Делилло Космополис



Аннотация

Дон Делилло (р. 1936) — знаковая фигура в литературном мире. В 1985 г. его роман «Белый шум» был удостоен Национальной книжной премии США. В 2006 г. «Нью-Йорк таймс» включила произведения Делилло «Изнанка мира», «Весы» и «Белый шум» в список лучших американских книг, написанных за последние 25 лет.

Роман «Космополис» лег в основу сюжета одноименного фильма, главную роль в котором сыграл Роберт Паттинсон.

Дон Делилло Космополис

Единицей обмена стала крыса.

Збигнев Херберт¹

**Год 2000-й
Апрельский день
Часть первая**

1

Сон теперь бежал его чаще — не единожды-дважды в неделю, а раза четыре, пять. Что он делал тогда? Долгих прогулок в развертке зари не предпринимал. Излюбленного друга, чтобы терзать звонками, у него нет. Да и что скажешь? Тут в молчании суть, не в словах.

Пытался убаюкивать себя чтением, но лишь просыпался больше. Читал науку и стихи. Ему нравилась скудная поэзия, точно размещенная в белом пространстве, шеренги штрихов, выстроенные по ранжиру алфавита, выжженные на бумаге. От поэзии он сознавал свое дыхание. Стихотворение обнажает миг для того, что обычно не готов замечать. Таков оттенок каждого стихотворения — по крайней мере, для него по ночам, все эти долгие недели, один вдох за другим, в комнате, что вращалась на верхушке трехэтажной квартиры.

Как-то ночью попробовал спать стоя в отсеке для медитаций, однако не обнаружилось в нем должного послушничества, не монах. Он превозмог сон и постепенно уравнивал его — в безлунном спокойствии, где всякая сила уравновешена другой. Кратчайшее облегчение, крохотная пауза в возне неумных личностей.

На вопрос ответа не было. Он пробовал успокоительные и гипноз, но те его подсаживали, отправляли вовнутрь по тугим спиральям. Что ни действие, то призрак себя, неестественное. За самой блеклой мыслью тащилась суетливая тень. Что же он делал? К аналитику в высокое кожаное кресло не садился. С Фрейдом покончено, следом пойдет Эйнштейн. Ночью читал «Специальную теорию относительности» — по-английски и по-немецки, — но в итоге книгу отложил, а сам лег совсем неподвижно, стараясь собраться с силами и выговорить то единственное слово, от которого свет погаснет. Вокруг ничего нет. Только шум в голове, рассудок во времени.

Когда умрет, он ведь не кончится. Кончится мир вокруг.

Он стоял у окна и рассматривал грандиозную дневную зарю. Вид открывался на мосты, протоки и проливы, за ними дальние районы и умывальные пригороды, а дальше — толики суши и неба, которые иначе как глубокой далью и не назвать. Он не знал, чего ему хочется. На реке еще лежала тьма, полночь, а над дымовыми трубами на другом берегу подрагивали пары пепла. Он представлял себе, что все шлюхи уже разбежались из-под фонарей на перекрестках, потряхивая утиными попками, а прочая деловая архаика только начинает копошиться, с рынков выезжают фуры с провизией, из экспедиций — фуры с газетами. По городу снуют хлебные фургоны да тачки из бедлама, отбившиеся от стай, выписывают зигзаги по проспектам, а из динамиков несется тяжкий грохот.

Зрелище благороднее некуда — мост через реку, за ним уже принимается реветь солнце.

Он смотрел, как сотня чаек не отстают от качкой баржи, идущей вниз по реке. Мощные у них сердца, крупные. Он знал это: непропорционально размерам тела. Некогда его

¹ Строка из стихотворения «Рапорт из осажденного города» (1983) польского поэта Збигнева Херберта (1924–1998), пер. В. Британишского. — *Здесь и далее прим. переводчика.*

интересовала анатомия птиц, и он освоил ее несметные подробности. У птиц полые кости. Невероятно, сколько всего он тогда выучил за полдня.

Поди пойми, чего ему хочется. И тут понял. Ему хочется подстричься.

Он еще немного постоял, глядя, как в свитке воздуха взмывает и трепещет одинокая чайка, повосхищался птицей, повдумывался в нее, стараясь ее познать и ощущая всем собой крепкое искреннее биенье алчного сердца помойной твари.

Надел костюм и галстук. Костюм скрадывал выпуклость перекачанной груди. Разминаться ему нравилось по ночам — тягать металлические штанги по салазкам, гнутья и качать пресс, стойчески повторяя одно и то же, от чего съедались все дневные дрызги и натиски.

Прошел по квартире — сорок восемь комнат. Он так делал, если сомневался и унывал, — шагал мимо бассейна с дорожками, карточного салона, спортзала, мимо аквариума с акулой и кинозала. Остановился у загона с борзыми, поговорил с собаками. Потом зашел в пристройку, где отслеживались валюты и просматривались исследовательские отчеты.

Курс иены за ночь поднялся, против ожиданий.

Он вернулся в жилые апартаменты — уже медленно, задерживаясь в каждой комнате, впитывая все, что там есть, прозревая глубь, ухватывая всякую крупницу энергии, лучами и волнами.

Живопись — почти сплошь цветные поля и геометрия, огромные холсты господствовали в комнатах, а в атрии, с его световым куполом, высокими белыми полотнами и фонтанной струйкой, нагнетали молитвенную тишь. В атрии висели напряжение и тревога — такая громоздящаяся пустота требует почтительной тишины, лишь в ней это пространство можно рассмотреть и прочувствовать как полагается, это мечеть тихих шагов и сизарей, что курлычут под сводами.

Ему нравились такие картины, на которые гости не знали, как смотреть. Белые полотна многим были неизвестны — мазки тонированной слизи наносились мастихином. Работа еще опаснее оттого, что не нова. В новом никакой опасности уже нет.

На лифте, где играл Сати,² он спустился в вестибюль. У него асимметричная простата. Вышел наружу и пересек авеню, обернулся и посмотрел на дом, в котором живет.³ Он чувствовал себя смежным. В доме восемьдесят девять этажей, простое число в неприметном футляре дымчатого бронзового стекла. У них с домом общий край или граница — небоскреб и человек. Высота — девятьсот футов, высочайшее жилое здание на свете, банальный параллелепипед, примечательный лишь размером. В нем та пошлость, чья вразвешенная грубость проявляется лишь со временем. Потому дом ему и нравился. Он любил стоять и смотреть на дом, когда ему бывало так же, как сейчас. А ему настороженно, сонно и незначительно.

От реки подуло вприпрыжку. Он вынул ручной органайзер и набил себе записку об анахронизме самого слова «небоскреб». Ни одна из нынешних конструкций не должна носить такого имени. Оно целиком принадлежит былой душе, исполненной благоговения, тем стрельчатым башням, что были повествованием задолго до того, как он родился.

Сам ручной приборчик — объект, чья первоначальная культура уже почти исчезла.

² Эрик Альфред Лесли Сати (1866–1925) — французский композитор и пианист, один из реформаторов европейской музыки 1-й четверти XX столетия.

³ Речь идет о «Трам-уорлд-тауэр» — жилом небоскребе высотой 264 м (72 этажа, хотя в лифтах обозначается 90), построенном в 1999–2001 гг. по проекту польского архитектора Марты Рудзска, который располагается по Первой авеню между 47-й и 48-й улицами. До 2003 г. был высочайшим жилым зданием в мире. Чтобы дать представление о стоимости жилья в этом доме, можно сказать, что пентхаус из двух верхних этажей общей площадью 1858 кв. м оценивался в 58 млн долларов.

Надо выбросить, это он точно знал.

Башня внушила ему силу и глубину. Он знал, чего хочет — подстричься, — но еще немного постоял в воспаряющем уличном шуме, поизучал масштабы и массу башни. У ее поверхности одно достоинство — она бегло просматривает и преломляет свет реки и передразнивает приливы и отливы распаханного неба. В ней чудятся характер и рефлексия. Он пробежал взглядом всю ее длину и ощутил связь с башней — они с ней делили одну поверхность и среду, которая вступала с этой поверхностью в контакт, причем с обеих сторон. Поверхность отъединяет то, что внутри, от того, что снаружи, а сама одному принадлежит не больше, чем другому. Он думал о поверхностях как-то раз в душе.

Надел темные очки. Затем перешел через дорогу обратно, к рядам белых лимузинов. Всего десять машин — пять у обочины Первой авеню прямо перед домом, еще пять на боковой улице, смотрят на запад. С первого взгляда все одинаковые. Ну, может, некоторые на фут-другой длиннее — все зависит от деталей растяжки и особых требований владельца.

Шоферы курили и общались на тротуаре — простоволосые, в темных костюмах, все бдительные, но это заметно лишь потом, когда у них вспыхивают глаза, они отбрасывают окурки и непринужденные позы, засекши объекты своего внимания.

Пока же они беседовали, некоторые с акцентами, другие на родных языках, — поджидая каждый своего инвестиционного банкира, застройщика, венчурного капиталиста, производителя ПО, владельца глобальных спутниковых и кабельных сетей, дисконтного брокера, клювастого медиамагната, главу государства в изгнании, сбежавшего из сокрушенного пейзажа голода и войны.

В скверике через дорогу стояли стилизованные железные деревца и бронзовые фонтаны, на дне всеми цветами радуги переливались разбросанные монетки. Мужчина в женской одежде выгуливал семерку эlegantных собак.

Ему нравилось, что машины практически неотличимы друг от друга. Самому хотелось такой автомобиль, поскольку это платоническая копия, несмотря на размер, не обладающая собственной плотностью, скорее идея, нежели объект. Но он знал, что это не так. Такое он говорил, исключительно чтобы произвести впечатление, сам же не верил ни секунды. Секунду, то есть, верил, но едва-едва. Ему хотелось машину не только потому, что она чрезмерного размера, но потому, что она чрезмерна агрессивно, презрительно, метастатически — неохватный мутант, встающий на пути у любых доводов против себя.

Его начальник службы безопасности любил эту машину за ее обезличенность. Длинные белые лимузины давно стали самым незаметным транспортным средством в городе. Он теперь ждал на тротуаре — Торваль, лысый, шеи нет, казалось, голова у него отвинчивается на техобслуживание.

— Куда? — спросил он.

— Хочу подстричься.

— В городе президент.

— Нам до лампочки. Нам нужно подстричься. Нам надо на другой конец города.

— Пробки будут разговаривать с вами четверть-двоймами.

— Известное дело. О каком президенте речь?

— Соединенных Штатов. Все перегородят, — сообщил он. — Целые улицы сотрут с карты.

— Покажи мою машину, — сказал он начальнику.

Шофер придержал дверцу, изготоясь обежать машину сзади к своей двери, что в тридцати пяти футах. Где заканчивался ряд белых лимузинов — параллельно входу в Японское общество,⁴ — начинался другой: городских легковых, черных или сине-

⁴ Японское общество — некоммерческая неполитическая организация, основанная в 1907 г. в целях «сближения народов США и Японии», располагается в Нью-Йорке по адресу Восточная 47-я ул., 333.

фиолетовых, и шоферы там ждали работников дипломатических миссий, делегатов, консулов и атташе в темных очках.

Торваль сел к шоферу впереди, где в приборную доску встроены компьютерные экраны, а внизу ветрового стекла — монитор ночного видения, производное инфракрасной камеры, вмонтированной в решетку радиатора.

В машине его ждал Шайнер — руководитель отдела технологических разработок, мелкий, с мальчишеским лицом. На Шайнера он больше не смотрел. Уже три года. Только посмотришь — и все ясно. Виден костный мозг в мензурке. На нем была линиялая рубашка и джинсы, а сидел он, мастурбационно скрючившись.

— Так что мы узнали?

— Наша система надежна. Мы неприступны. Никаких вредоносных программ, — ответил Шайнер.

— И тем не менее.

— Эрик, нет. Мы все тесты прогнали. Никто систему не завешивает, нашими сайтами не манипулирует.

— И когда мы все это сделали?

— Вчера. В комплексе. Наша команда быстрого реагирования. Уязвимой точки входа нет. Наш страховщик провел анализ угроз. У нас буфер против атак.

— Повсюду.

— Да.

— Включая машину.

— Включая, абсолютно, да.

— Мою машину. Эту машину.

— Эрик, да, прошу тебя.

— Мы с тобой вместе со времен того паршивенького стартапа. Скажи мне еще раз, что тебе по-прежнему хватает выдержки на эту работу. Преданности.

— Эта машина. Твоя машина.

— Непреклонной воли. Потому что мне все время рассказывают про нашу легенду. Мы все молоды, умны, и воспитали нас волки. Однако репутация — явление нежное. Человек взлетает словом и падает слогом. Я знаю, что не у того спрашиваю.

— Что?

— Где вчера вечером была машина после того, как мы прогнали тесты?

— Не знаю.

— Куда по ночам вообще ездят все эти лимузины?

Шайнер уныло просел в глубины вопроса.

— Я знаю, что меняю тему. Мало сплю. Смотрю на книги и пью бренди. Но что происходит с вытянутыми лимузинами, которые целыми днями рыщут по неутомонному городу? Где они ночуют?

Машина застряла в пробке, не доехав до Второй авеню. Он сидел в клубном кресле в заднем конце салона, смотрел на батарею видеотерминальных устройств. На каждом экране — попури данных, текущие знаки и хребты графиков, пульсируют многоцветные числа. Он впитывал материал пару долгих недвижных секунд, не обращая внимания на звуки речи, издававшиеся лакированными головами. Еще микроволновка и кардиомонитор. Он взглянул на скрытую камеру на вертлюге, и она глянула на него. Бывало, он держал это пространство руками, но теперь всё. Контекст почти бесконтактный. По слову его большинство систем включается, от одного взмаха руки пустеют мониторы.

Сбоку втиснулось такси, водитель жал на клаксон. Это разбудило сотню других клаксонов.

Шайнер поерзал на откидном сиденье у встроенного бара, лицом назад. Он цедил свежесжатый апельсиновый сок через пластиковую соломинку, торчавшую из стакана под тупым углом. Между приемами жидкости он, похоже, что-то насвистывал в стебель

соломинки.

Эрик спросил:

— Что?

Шайнер поднял голову.

— У тебя бывает иногда чувство, когда ты не знаешь, что происходит? — спросил он.

— Мне переспрашивать, что ты имеешь в виду?

Шайнер говорил в соломинку, словно она бортовое передающее устройство.

— Весь этот оптимизм, весь расцвет и парение. Все бац — и происходит. Одновременно то и это. Протягиваю руку — и что я чувствую? Я знаю, что каждые десять минут ты анализируешь тысячи разных вещей. Паттерны, коэффициенты, индексы, целые поля информации. Я обожаю информацию. Она у нас сладость и свет.⁵ Такое чудо, что ебтвоюмать. И для нас в мире есть смысл. Люди едят и спят под сенью того, что мы делаем. Но в то же время — что?

Повисла долгая пауза. Наконец он посмотрел на Шайнера. Что он ему сказал? Реплика не прозвучала направленно: остро и резко. Вообще-то ничего он и не сказал.

Они сидели в прибое клаксонов. Шум звучал так, что Эрику не хотелось его отменить. Тональность какой-то подлежащей боли, причитания столь древнего, что казалось первобытным. Ему представились оборванные шайки мужчин — церемонно режут, ячейки общества учреждены ради убийства и поедания. Сырое мясо. Вот к чему этот зов, эта тяжкая нужда. Сегодня в кулере ехали напитки. Для микроволновки — ничего существенного.

Шайнер спросил:

— А мы по особому поводу в машине, а не в конторе?

— Откуда ты знаешь, что мы в машине, а не в конторе?

— Если я отвечу.

— На основании какого допущения?

— Я знаю, что отвечу полуумно, но главным образом — поверхностно и на некоем уровне, вероятно, неточно. И ты будешь меня жалеть за то, что я вообще родился.

— Мы в машине потому, что мне нужно подстричься.

— Позвал бы цирюльника в контору. Там и подстригся бы. Или в машину бы вызвал. Спустился, подстригся и вернулся в кабинет.

— У стрижки же что. Ассоциации. Календарь на стене. Повсюду зеркала. А тут кресла нет. Ничто не вращается, кроме камеры.

Он повернулся в кресле и посмотрел, как камера наблюдения повела его. Раньше его изображение было доступно почти все время, потоковое видео шло из машины по всему свету, из самолета, из кабинета, из отдельных точек в квартире. Но следовало блюсти безопасность, и теперь камера работала в замкнутой системе. На постоянной вахте перед тремя мониторами в кабинетике без окон — медсестра и два вооруженных охранника. Слово «контора» теперь устарело. У него нулевая насыщенность.

Он глянул сквозь одностороннее стекло слева. Не сразу понял, что знает женщину на заднем сиденье такси. Это его жена двадцатидвухдневной давности Элиза Шифрин — поэтесса, по праву крови наследующая сказочное банковское состояние европейских и мировых Шифринов.

Он кодировал слово Торвалю впереди. После чего вышел на дорогу и постучал в окно такси. Она ему улыбнулась, удивилась. Ей за двадцать — травленая тонкость черт и большие безыскусные глаза. В красоте ее присутствовало что-то отстраненное. Это интриговало, хотя, может, и нет. Голову на длинной тонкой шее она держала чуть вперед. Смеялась неожиданно — чуть утомленно и опытно, и еще ему нравилось, как она подносит палец к губам, когда ей хочется задуматься. А стихи у нее говно.

⁵ Выражение восходит к сатире английского писателя Джонатана Свифта «Битва книг» (1704), а в обиход его ввел английский поэт и культуролог Мэттью Арнолд в эссе «Культура и анархия» (1869).

Она подвинулась, и он скользнул на сиденье рядом. Клаксоны утихли, вернулись к своим ритуальным циклам. Затем такси метнулось наискосок перекрестка, к точке чуть к западу от Второй авеню, а там наткнулось на следующий тупик; Торваль гнался по пятам.

— Где твоя машина?

— Мы ее, похоже, потеряли, — ответила она.

— Я бы тебя отвез.

— Не могла. Абсолютно. Я же знаю, ты по пути работаешь. А мне нравится в такси. С географией я никогда не дружила, к тому же я узнаю всякое, если расспрашиваю таксистов о том, откуда они.

— Они от ужаса и отчаяния.

— Вот именно. О странах, где беспокойно, узнаешь в здешних такси.

— Мы давно не виделись. Сегодня утром я тебя искал.

Он для убедительности снял темные очки. Она взгляделась в его лицо. Смотрела пристально, внимательно.

— У тебя глаза голубые, — сказала она.

Он взял ее за руку и поднес ладонь к лицу, нюхал, лизал. У сикха за рулем не хватало пальца. Эрик разглядел обрубок — внушительный, серьезная штука, телесная руина, в которой история и боль.

— Уже завтракала?

— Нет, — ответила она.

— Хорошо. Мне хочется чего-то плотного и жевательного.

— Ты никогда не говорил мне, что у тебя голубые глаза.

В ее смехе он расслышал треск статики. Прикусил ей костяшку большого пальца, открыл дверцу, и они вышли на тротуар — к кофейне на углу.

Он сидел спиной к стене, смотрел, как Торваль размещается у главного входа, откуда хорошо просматривался весь зал. В кофейне битком. Сквозь бесформенный шум к нему просачивались приблудные слова на французском и сомалийском. Такова диспозиция в этом конце 47-й улицы. Темные женщины в одеяниях цвета слоновой кости шли против ветра с реки к Секретариату ООН. Жилые башни назывались «L'Ecole» и «Октавия».⁶ По скверам возили коляски няньки-ирландки. Ну и, разумеется, Элиза, швейцарка или кто она там, сидит за столиком напротив.

— О чем будем разговаривать? — спросила она.

Перед ним стояла тарелка блинчиков с колбасками — он ждал, когда растает и растечется квадратик масла, чтобы вилок взбить вялый сиропчик, а потом смотреть, как медленно рассасываются бороздки от зубцов. Он понял, что вопрос серьезный.

— Мы хотим вертолетную площадку на крыше. Я купил право на воздушное пространство, но все равно еще нужно добиться исключения из правил зонирования. Ты разве есть не хочешь?

От еды она, казалось, отступает. Зеленый чай и тост перед ней нетронуты.

— И тир рядом с лифтами. Давай поговорим о нас.

— Ты и я. Мы тут. Так чего б не.

— Когда мы снова займемся сексом?

— Займемся. Правда, — ответила она.

— Мы уже некоторое время не.

— Когда я работаю, понимаешь. Энергия драгоценна.

— Когда ты пишешь.

— Да.

⁶ «L'Ecole» (школа, *фр.*) — 17-этажное жилое здание по адресу Восточная 47-я улица, 212, строительство завершено в 1979 г. «Октавия» — 32-этажное жилое здание (Восточная 47-я улица, 216), строительство завершено в 1985 г.

— Когда ты это делаешь? Я ищу тебя, Элиза.

Он увидел, как Торваль в тридцати шагах подвигал губами. Он говорил в микрофон, спрятанный в лацкане. В ухе динамик. Мобильный телефон пристегнут к поясу под пиджаком, поблизости от пистолета с голосовой активацией, чешская модель, еще один символ международной района.

— Куда-нибудь заползаю. Всегда так делала. Мама обычно отправляла кого-нибудь меня искать, — сказала она. — Горничные и садовники прочесывали весь дом и участок. Она думала, я в воде растворяюсь.

— Мне нравится твоя мама. У тебя груди мамины.

— Ее груди.

— Отличные титьки торчком, — сказал он.

Ел он быстро, вдыхал пищу. Потом съел все за нее. Ему казалось, глюкоза прямо-таки впитывается ему в клетки, подогревает иные аппетиты тела. Он кивнул хозяину заведения, греку с Самоса, тот помахал от стойки. Ему нравилось сюда приходить, потому что это не нравилось Торвалю.

— Скажи мне. Куда ты сейчас поедешь? — спросила она. — На какую-нибудь встречу? В контору? Чем ты вообще занимаешься?

Она взгляделась в него поверх мостика рук, улыбка пряталась.

— Ты знаешь всякое. По-моему, этим ты и занимаешься, — сказала она. — По-моему, ты посвятил себя знанию. По-моему, ты приобретаешь информацию и превращаешь ее в нечто громадное и ужасное. Ты опасная личность. Согласен? Провидец.

Он смотрел, как Торваль поднес чашечку ладони к голове — вслушивается, что ему говорят прямо в ухо. Такие приборы уже исчезают, он это знал. Вырождающиеся конструкции. Пистолет-то пока, может, и нет. Но само слово уже тает в налетающем тумане.

Он стоял у машины, незаконно припаркованной, и слушал Торваля.

— Комплекс докладывает. Достоверная угроза. Нельзя отмахиваться. Это значит — поездка через весь город.

— Нам не раз угрожали. И всякий раз достоверно. Я до сих пор тут стою.

— Не вашей безопасности угроза. Его.

— Какого такого, блядь, его?

— Президента. Это значит, что поездки через весь город не произойдет, если мы не потратим на нее весь день, с молоком и печеньками.

Он осознал, что дородное присутствие Торваля — провокация. Он весь узловат и покат. У него тело тяжеловеса — такие, похоже, одновременно стоят и присаживаются. Ведет себя с тупой убежденностью, с искренней бдительностью, ее постоянно испытывают плотные мужчины. А это враждебные подстрекательства. Они грозят Эрикову ощущению собственной телесной власти, его стандартам силы и мускульной плоти.

— А в президентов еще стреляют? Я считал, есть мишени поувлекательнее, — сказал он.

В своей службе безопасности он искал ровный темперамент. Торваль по этому критерию не подходил. Иногда бывал ироничен, а временами и презрителен к стандартным процедурам. Да еще голова. Как-то его бритый череп торчал, в глазах что-то отклонялось от нормы — чувствовался намек на постоянный внутренний гнев. Его работа — к конфронтации подходить избирательно, а не весь безликий мир ненавидеть.

Он давно заметил, что Торваль перестал называть его «мистером Пэкером». Теперь он его никак не называл. Упущение это оставляло в природе дыру, в которую прошел бы человек.

Он понял, что Элиза ушла. Забыл спросить, куда она собирается.

— В следующем квартале два парикмахерских салона. Раз, два, — сказал Торваль. — Не надо ехать через весь город. Ситуация нестабильна.

Мимо спешили люди, другие с улиц, бесконечно безымянные, двадцать одна жизнь в

секунду, спортивная ходьба лиц и пигментов, набрызг мимолетного существа.

Они тут, чтобы подчеркнуть: не обязательно на них смотреть.

Теперь на откидном сиденье был Майкл Цзинь, его валютный аналитик — спокойно моделировал некое немалое беспокойство.

— Я знаю эту улыбку, Майкл.

— Думаю, иена. Иными словами, есть основания полагать, что мы кредитуем слишком опрометчиво.

— Она к нам повернется.

— Да. Знаю. Всегда так было.

— Тебе кажется, что видишь опрометчивость.

— Происходящее не отражается на графиках.

— Отражается. Просто хорошенько поискать. Не доверяй стандартным моделям. Мысли за рамками. Иена о чем-то заявляет нам. Читай. Потом прыгай.

— Мы тут ставим по-крупному.

— Я знаю эту улыбку. Мне хочется ее уважать. Но иена не подымется выше.

— Мы занимаем огромные, гигантские суммы.

— Любые нападки на границы восприятия поначалу неизменно кажутся опрометчивыми.

— Эрик, хватит. Мы спекулируем в пустоту.

— Твоя мама винила за улыбку отца. А он ее. В ней что-то смертоносное.

— Мне кажется, нам следует скорректироваться.

— Она надеялась, что заставит тебя записаться на спецконсультации.

У Цзиня ученые степени по математике и экономике, а он всего лишь пацан — по-прежнему в волосах панковская полоса, угрюмая свекольно-красная.

Двое разговаривали и принимали решения. То были решения Эрика, и Цзинь неохотно вводил их в свой налаженный органайзер, а затем синхронизировал с системой. Машина двигалась. Эрик смотрел на себя на овальном экране ниже скрытой камеры, возил большим пальцем по линии подбородка. Машина останавливалась и ехала, и он, странное дело, понял, что вот только что упер большой палец в линию подбородка — секунду-другую после того, как увидел этот жест на экране.

— Где Шайнер?

— По пути в аэропорт.

— Зачем нам до сих пор аэропорты? Почему их зовут «аэропортами»?

— Я знаю, что не способен ответить на эти вопросы и не потерять вашего уважения, — ответил Цзинь.

— Шайнер мне сказал, что наша система защищена.

— Значит, так и есть.

— Защищена от проникновения.

— Лучше него тут никто не находит дыры.

— Тогда почему я вижу то, что еще не произошло?

Пол в лимузине — из каррарского мрамора, из карьеров, где полтысячелетия назад стоял Микеланджело, трогал кончиком пальца звездчатый белый камень.

Он взглянул на Цзиня — брошен на произвол судьбы на откидном сиденье, заблудился в беспорядочных мыслях.

— Сколько тебе лет?

— Двадцать два. Что? Двадцать два.

— Выглядишь моложе. Я всегда был моложе всех вокруг. А однажды начало меняться.

— Я не ощущаю себя моложе. Я ощущаю, что располагаюсь совершенно нигде. По-моему, я готов уйти, по сути, из бизнеса.

— Сунь в рот резинку и попробуй не жевать. Для человека твоего возраста, твоих

талантов на свете есть лишь одно, чем стоит заниматься профессионально и интеллектуально. Что же это, Майкл? Взаимодействие техники и капитала. Неразрывность.

— По-настоящему трудно последний раз было только в старших классах, — сказал Цзинь.

Машина въехала в затор на Третьей авеню. Шоферский регламент диктовал вторгаться в пробки на перекрестках, не мешкать застенчиво.

— Я как-то стихотворение читал, там крыса становится единицей валюты.

— Да. Было бы занимательно, — сказал Цзинь.

— Да. Повлияло бы на мировую экономику.

— Одно имя чего стоит. Лучше херифа или квачи.

— В имени все говорится.

— Да. Крыса, — сказал Цзинь.

— Да. Сегодня крыса закрылась ниже евро.

— Да. Растут опасения, что российская крыса обесценится.

— Белые крысы. Только подумай.

— Да. Беременные крысы.

— Да. Массированный сброс беременных российских крыс.

— Великобритания переходит на крыс, — сказал Цзинь.

— Да. Склоняется к тенденции перехода на мировую валюту.

— Да. США устанавливают крысиный стандарт.

— Да. Каждый доллар США обеспечивается крысой.

— Дохлые крысы.

— Да. Накопление дохлых крыс ставит под угрозу состояние здоровья в мире.

— Вам сколько лет? — спросил Цзинь. — Теперь, раз уж вы не моложе всех прочих.

Он глянул мимо Цзиня — потоки цифр бежали в разные стороны. Он понимал, сколько это для него значит — бег и скачки данных на экране. Рассмотрел фигуративные диаграммы, которые вводили в игру органические узоры, орнитоптеру и многокамерную раковину. Поверхностно утверждать, что цифры и графики — холодное сжатие буйных человеческих энергий, когда всяческие томления и полуночный пот сводятся к ясным модулям на финансовых рынках. Сами по себе данные одушевлены и светятся, динамический аспект жизненного процесса. Таково красноречие алфавитов и числовых систем — оно полностью реализуется в электронной форме, в единицах-нулях мира — цифровой императив, определяющий всякий вздох живых миллиардов планеты. Так вздымается биосфера. Тут наши тела и океаны — познаваемые, цельные.

Машина тронулась. В окне справа он увидел первый парикмахерский салон — северо-западный угол, «Filles et Garçons».⁷ Он ощущал, как Торваль спереди ждет команды остановить машину.

Козырек второго заведения он заметил неподалеку впереди и произнес кодовую фразу — сигнал процессору в переборке, отделяющей шофера от пассажирского салона. Фраза сгенерировала команду на экране в приборной доске.

Машина остановилась перед жилым зданием, располагавшимся между двумя салонами. Он вышел и вступил в тоннель прохода, не дожидаясь, пока швейцар доковыляет до телефона. Вошел в закрытый дворик, мысленно именуя все, что в нем: довольные тенью бересклет и лобелия, темнозвездчатый колеус, сладкая гледичия с перистыми листьями и нелопнувшими стручками. Названия дерева по-латыни ему в голову не пришло, однако оно вспомнится, не минует и часа — или же где-нибудь в нескончаемом затишье следующей бессонной ночи.

Он прошел под крестообразным сводом из белой решетки, усаженной вьющимися

⁷ «Девочки и мальчики»(фр.).

гортензиями, после чего оказался в самом доме.

Через минуту он уже был у нее в квартире.

Она возложила руку ему на грудь, театрально, удостовериться, что он здесь и настоящий. Они принялись спотыкаться и хвататься друг за друга, пробираясь к спальне. Ударились о косяк и отскочили. У нее одна туфля стала крениться, но стряхнуть ее с ноги не удалось, поэтому туфлю ему пришлось пнуть. Он прижал ее к стенной живописи — минималистская решетка, над которой несколько недель при помощи измерительных инструментов и графитовых карандашей трудился один из двух адъютантов художника.

Раздеваться всерьез они не стали, пока не кончили заниматься любовью.

— Я тебя ждала?

— Мимо проезжал.

Они стояли по обе стороны кровати, нагнувшись, дотягиваясь до последних предметов одежды.

— Решил заехать, значит? Это мило. Я рада. Давненько. Я, конечно, все читала.

Теперь она лежала навзничь, повернув на подушке голову, и наблюдала за ним.

— Или по телевизору видела?

— Что?

— Что? Свадьбу. Странно, что ты мне не сказал.

— Не так уж и странно.

— Не так уж и странно. Два огромных состояния, — сказала она. — Вроде великих браков по расчету где-нибудь в старой имперской Европе.

— Только я — гражданин мира с нью-йоркскими яйцами.

Подхватил гениталии рукой. Потом лег на кровать, на спину, устался на раскрашенный бумажный абажур, свисавший с потолка.

— Сколько миллиардов вы вдвоем представляете?

— Она поэтесса.

— Вот, значит, что она. Я-то думала, она из Шифринов.

— Того и другого понемногу.

— Такая богатая и хрусткая. Она тебе дает потрогать свои интимные места?

— Ты сегодня роскошно выглядишь.

— Для сорокасемилетней женщины, которая наконец поняла, в чем ее проблема.

— И в чем она?

— Жизнь слишком современна. Сколько лет твоей супруге? Ладно, не стоит. Не хочу знать. Вели мне заткнуться. Только сперва один вопрос. Она хороша в постели?

— Пока не знаю.

— Вот в чем беда у старых денег, — сказала она. — А теперь вели мне заткнуться.

Он положил руку ей на ягодицу. Немного полежали в тишине. Она была жженой блондинкой, звали Диди Фэнчер.

— Я знаю такое, что ты хочешь знать.

Он спросил:

— Что?

— В частных руках есть Ротко,⁸ о котором у меня имеется конфиденциальная информация. Скоро может стать доступен.

— Ты его видела.

— Года три-четыре назад. Да. И он светится.

⁸ Марк Ротко (Маркус Яковлевич Роткович, 1903–1970) — американский художник российского происхождения, абстрактный экспрессионист. Часовня Ротко, о которой речь идет ниже, — самый амбиционный его проект (1964–1971): коллекция из 14 картин, размещенных в часовне экуменической церкви в Хьюстоне, штат Техас, выстроенной по его эскизам. Проект был заказан художнику техасскими нефтяными магнатами и коллекционерами Джоном и Доминик де Менил как место для медитаций. С 2000 года Часовня включена в Национальный реестр исторических мест США.

Он спросил:

— А как с часовней?

— А как с ней?

— Я думал о часовне.

— Ты не сможешь купить эту хренову часовню.

— Откуда ты знаешь? Свяжись с принципами.

— Я думала, ты будешь в восторге от картины. Одна картина. У тебя нет никакого значительного Ротко. А тебе всегда хотелось. Мы это обсуждали.

— Сколько картин в его часовне?

— Не знаю. Четырнадцать, пятнадцать.

— Если они мне продадут часовню, я оставлю ее в неприкосновенности. Скажи им.

— В неприкосновенности где?

— У меня в квартире. Там хватит места. Могу расшириться.

— Но людям надо ее видеть.

— Пусть тогда покупают. Пусть перебьют мою цену.

— Прости, что я так свысока. Но Часовня Ротко принадлежит миру.

— Если куплю, будет моя.

Она протянула руку и шлепком сбросила его ладонь со своей задницы.

Он спросил:

— Сколько за нее хотят?

— Они не хотят продавать часовню. И не мне тебя учить самоотречению и социальной ответственности. Поскольку я ни на минуту не верю, что ты настолько неотесан, как хочешь казаться.

— Поверишь. Ты бы приняла ведь мой образ мысли и действий, явись я из чужой культуры. Будь каким-нибудь пигмейским диктатором, — сказал он. — Или кокаиновым бароном. Кем-нибудь из фанатичных тропиков. Тебе бы такое очень было по душе, верно? Ты бы лелеяла чрезмерность, мономанию. Такие люди восхитительно будоражат других. Таких, как ты. Только нужно провести черту. Если они выглядят и пахнут, как ты, все запутывается.

Он сунул ей под нос свою подмышку.

— Вот лежит Диди. В капкане древнего пуританства.

Он перекатился на живот, и они лежали близко друг к другу, касаясь бедрами и плечами. Он полизал обвод ее уха, сунулся лицом ей в волосы, мягко зарылся.

Спросил:

— Сколько?

— Что это значит — тратить деньги? Доллар? Миллион?

— На картину?

— На что угодно.

— У меня сейчас два личных лифта. Один запрограммирован играть фортепианные вещи Сати и двигаться вчетверо медленнее обычной скорости. Под Сати так и надо — я езжу этим лифтом, когда у меня определенное, скажем, неуравновешенное настроение. Он меня успокаивает, делает цельным.

— А во втором лифте кто?

— Братуха Феск.

— Это еще кто?

— Звезда суфийского рэпа. Ты не знала?

— Я много чего пропускаю.

— Стоило мне больших денег и сделало врагом народа, когда я реквизировал второй лифт.

— Деньги на картины. Деньги на что угодно. Мне пришлось учиться понимать деньги, — сказала она. — Я выросла в удобстве. Далеко не сразу начала думать о деньгах и на самом деле смотреть на них. Потом начала смотреть. Разглядывать купюры и монеты. Научилась,

каково это — делать деньги и тратить их. Приносит огромное удовлетворение. Это мне помогло стать личностью. Но теперь я уже не знаю, что такое деньги.

— Сегодня я теряю деньги тоннами. Много миллионов. Ставлю против иены.

— А иена разве не спит?

— Валютные рынки никогда не закрываются. А Никкей теперь работает круглые сутки.

Все основные биржи. Семь дней в неделю.

— Это я пропустила. Я много чего пропускаю. Сколько миллионов?

— Сотни.

Она задумалась. Потом зашептала.

— Тебе сколько лет? Двадцать восемь?

— Двадцать восемь, — ответил он.

— Мне кажется, ты хочешь этого Ротко. Кусается. Но да. Тебе он совершенно нужен.

— Почему?

— Напомнит, что ты жив. В тебе что-то восприимчиво к таинствам.

Он легонько положил средний палец в ложбинку меж ее ягодиц.

Сказал:

— Таинства.

— Ты разве не видишь себя в любой картине, которую любишь? Ты же чувствуешь, как тебя омывает ее излучение. Такого не проанализируешь, не выразишь ясно словами. Что ты делаешь в тот миг? Разглядываешь картину на стене. И все. Но при этом ощущаешь себя живым в этом мире. Она тебе говорит: да, ты тут. И да, диапазон бытия в тебе глубже и слаще, чем ты сам понимал.

Он сжал кулак и втиснул его ей между бедер, медленно поворачивая им туда-сюда.

— Я хочу, чтобы ты съездила в часовню и сделала им предложение. Сколько бы ни запросили. Я хочу все, что там внутри. Вместе со стенами и прочим.

Какой-то миг она не двигалась. Потом отстранилась, тело разъединилось с подстрекательской рукой.

Он смотрел, как она одевается. Одевалась конспективно — похоже, думала о том, что предстоит завершить, чему он помешал своим приездом. У нее послечувственность — вот вдела руку в кремовый рукав, а выглядит дряблее и печальнее. Ему хотелось бы причины ее презирать.

— Я помню, что ты мне раз сказала.

— И что?

— Талант эротичнее, если тратится впустую.

— О чем это я? — спросила она.

— Ты говорила о том, что я безжалостно эффективен. Талантлив — да. В бизнесе, в личных приобретениях. В организации собственной жизни вообще.

— А любовь я имела в виду?

— Не знаю. Имела?

— Не вполне безжалостен. Но да. Талантлив. И внушителен. И в одежде, и без. Тоже талант, наверное.

— Но тебе чего-то не хватало. Или же всего хватало. В том-то и дело, — сказал он. — С таким талантом и напором. Все в дело. Последовательно приносит пользу.

Она искала потерянную туфлю.

— Но это больше не правда, — сказала она.

Он наблюдал за ней. Кажется, ему не хотелось сюрпризов — даже от женщины, от этой женщины, которая научила его смотреть, чувствовать влажные чары на лице, ощущать, как тает наслаждение в мазке или полоске цвета.

Она нырнула к кровати. Но, не успев выхватить туфлю из-под одеяла, пролившегося на пол, глянула ему глаза в глаза.

— С тех пор, как в твою жизнь проникла толика сомнения.

— Сомнения? Что такое сомнение? — Он сказал: — Сомнений не бывает. Никто

больше не сомневается.

Она вступила в туфлю и оправила юбку.

— Начинаешь думать, что сомневаться интереснее, чем действовать. Сомнения требуют больше мужества.

Она шептала, недвижимая, уже отвернувшись от него.

— Если я от этого сексуальнее, куда же ты?

Она собиралась снять трубку телефона, звонившего в кабинете.

Вспомнил, когда надел один носок. *G. triacanthos*. Знал же, что вернется, — и вернулось. Ботаническое название того дерева во дворе. *Gleditsia triacanthos*. Гледичия сладкая.

Ему стало получше. Он знал, кто он, и потянулся за рубашкой, одевался ускоренным маршем.

Торваль стоял за дверью. Они не встретились взглядами. Прошли к лифту, в молчании спустились в вестибюль. Он пропустил Торваля вперед — проверить участок. Надо признать, тот делает это хорошо — мягкая хореография галсов, четкая и ясная. После чего прошли по двору и на улицу.

Остановились у машины. Торваль указал на парикмахерские, что поджидали с обеих сторон, всего в нескольких ярдах. Затем его глаза остыли и замерли. Слушал голос в ухе. В миге ощущалось напряжение, направленное ожидание.

— Код угрозы синий, — наконец сказал он. — У нас потери.

Шофер придержал дверцу. Эрик не взглянул на него. Бывали времена, когда он подумывал, не посмотреть ли на шофера. Но пока так и не посмотрел.

Потерей был Артур Рапп, управляющий директор Международного валютного фонда. Только что на него совершили покушение в «Найки-Северной Корее». Всего минуту назад. Эрик смотрел, как это происходит снова и снова, маниакальными повторами, а машина тем временем ползла к затору на Лексингтон-авеню. Артура Раппа он терпеть не мог. Возненавидел еще до знакомства. Ненависть чистейших кровей, упорядоченная, основанная на расхождении в теории и толкованиях. Потом они встретились, и Эрик возненавидел его лично и хаотично, что называется — от всей души.

Его убили в прямом эфире «Денежного канала». В Пхеньяне перевалило за полночь, он заканчивал интервью для североамериканских телезрителей после исторического дня, вечера церемонии, приемов, ужинов, речей и тостов.

Эрик видел, как на одном экране он подписывает документ, а на другом готовится к смерти.

В кадр вошел мужчина в рубашке с коротким рукавом и принялся бить Артура Раппа ножом в лицо и шею. Тот схватил мужчину и вроде как подтянул его ближе, как будто хотел сказать что-то по секрету. Запутавшись в микрофонном шнуре, они вместе рухнули на пол. Журналистка следом — изящная женщина, юбка с разрезом задралась и стала главной точкой внимания.

На улице выли клаксоны.

На одном экране возник крупный план. Мясистое лицо Артура Раппа надувалось спазмами потрясения и боли. Напоминало жом чего-то растительного. Эрику захотелось, чтобы показали еще раз. *Покажите еще*. И показали, разумеется, и он знал, что показывать будут еще не раз — до глубокой ночи, нашей ночи, пока из образа не стечет всякое ощущение или пока все в мире не посмотрят, что уж раньше случится, но при желании посмотреть можно — в любое время, поиском изображения, хотя эта технология уже сейчас кажется гнетуще медлительной, — или можно вызвать на экран замедленную съемку изящной женщины и микрофона у нее в руке: как их затягивает ужасом, — можно сидеть не один час, желая выебать ее тут же, в кровавом вихре ножа, случайных частей тел, вспоротых сонных артерий, посреди отрывистых воплей бьющегося убийцы, у него к ремню пристегнут мобильник, и раздутых газообразных стонов умирающего Артура Раппа.

Авеню перегородил экскурсионный автобус. Двухэтажный, из-под брюха у него валил дым, а с верхнего уровня высовывались опечаленные головы — невозмутимые шведы и китайцы, их «бананы» набиты валютой.

Майкл Цзинь по-прежнему был на откидном сиденье, спиной к движению. Слушал репортаж о покушении, но к экрану не поворачивался.

Теперь Эрик смотрел на него — непонятно, молодой человек так сдержан из-за нравственной строгости или его безразличие настолько глубоко, что его не пробить музам, даже музам секса и смерти.

— Пока вас не было, — сказал Цзинь.

— Да. Рассказывай.

— Сообщили, что в Японии снижаются потребительские расходы. — Он говорил дикторским голосом. — Возникают сомнения в экономической стабильности страны.

— Ясно. Что. Я то же самое говорил.

— Ожидают, что иена увянет. Иена несколько провалится.

— Ну и вот. Видишь. неизбежно. Ситуация должна измениться. Выше иена не может залезть.

К этому концу машины подошел Торваль. Эрик опустил окно. Окна по-прежнему приходится опускать.

Торваль сказал:

— Вкратце.

— Да.

— Комплекс рекомендует дополнительную безопасность.

— Ты не очень доволен.

— Сначала угроза президенту.

— Ты уверен, что справишься, что бы ни случилось.

— Теперь покушение на управляющего директора.

— Прими их рекомендации.

Он поднял окно. Как ему эта дополнительная безопасность? Ему стало свежо. Освежала смерть Артура Раппа. Грядущее падение иены придавало сил.

Он окинул взглядом мониторы видеотерминальных устройств. Они располагались несколькими уровнями на разных расстояниях от заднего сиденья — плоские плазменные экраны всевозможных размеров, некоторые прямоугольными гроздьями, иные одиноко торчали из стоек по бортам. Группа их выглядела произведением видеоскульптуры — представительным и воздушным, с возможностью видоизменения: каждая единица в ней конструировалась так, чтобы откидываться на вертлюге, складываться либо работать вне зависимости от остальных.

Ему нравился приглашенный звук или же отключенный совсем.

Они уже выбирались из экскурсионного автобуса. Тот, казалось, тонет в темном дыму, пенившемся вокруг. В автобус попробовал сесть бродяга, одетый в пузырчатую пленку. Вдали были сирены — в пробке застряли пожарные машины, и вой висел в воздухе, без доплеровского сдвига, а клаксоны машин дудели вблизи, еще одна тягота дня.

Его ликование углубилось. Он сдвинул верхний люк и высунул голову в разворачивающуюся сцену. Сразу за авеню высились банковские башни. Несмотря на размеры, эти конструкции в глаза не бросались, заметить их трудно, такие они обычные и монотонные — высокие, отвесные, абстрактные, со стандартными пологими выступами, длиной в целый квартал, — такие равнозначные, что нужно хорошенько сосредоточиться, чтобы их увидеть.

Отсюда они выглядели пустыми. Эта мысль ему понравилась. Их мыслили последними высокими строениями, их строили пустыми, они должны ускорять приход будущего. Они — конец внешнего мира. Вообще-то их тут нет. Они в будущем, во времени за пределами географии и осязаемых денег — а также тех, кто эти деньги складывает в стопки и считает.

Он сел и глянул на Цзиня, который скусывал отмершую кожицу с большого пальца. Посмотрел, как тот глодает. Не самая нежная греза у Майкла. Он грыз, перетирал зубами сначала заусенец, следом сам ноготь у основания — бледную дугу лунной четвертинки, луночку, и в этом зрелище было что-то ужасное, атавизм какой-то: Цзинь нерожденный, свернулся калачиком в плечатой сумке, жуткий маленький гуманоид с головой компьютерного ботана сосет свои фестончатые руки.

Почему заусенец зовут заусенцем? Происходит от древнего «усние», кожа, насколько Эрик случайно знал, а оно — от «усмы», вероятно, восходящей к корням жжения, это мучительно и больно.

Цзинь выпустил немного своих вегетарианских газов. Контроль среды тут же заглотил их. Впереди открылась брешь, и машина дернулась и содрогнулась, со скрежетом объезжая автобус, нацелилась поперек авеню. Человек с колесным лотком так серьезно следил за этим перемещением. Машину колыхнуло на бордюре, и она выдавилась из этого сфинктера; взгляд Цзиня вынырнул из луночного уединения, когда машина рванула к Парк-авеню по сюрреально пустому отрезку улицы.

— Тебе что пора делать.

— Да. Хорошо, — сказал Цзинь.

— Ты не знаешь? Мы оба это знаем.

— Есть чем заняться в конторе. Да. Нужно перебрать события за период и посмотреть, смогу ли я найти применимое.

— Ничего не применимо. Но там все есть. Видно на графике. Сам поймешь.

— Мне нужно протестировать валюты на основе исторических данных, не знаю, чуть ли не до туманной зари.

— Мы не можем ждать туманной зари.

— Тогда сделаю тут. Сберегу время. Лишь бы вы были довольны. Временные циклы я обсчитываю во сне. Годы, месяцы, недели. Сколько неуловимых паттернов нашел. Сколько математики насовал в циклы и историю развития цен. Потом отыскиваешь часовые циклы. Потом эти вонючие минуты. Затем переходишь к секундам.

— Это видно по дрозofiлам и сердечным приступам. Действуют общие силы.

— Я так устарел, что даже пищу жевать не приходится.

— Здесь тебе нельзя.

— Мне тут нравится.

— Нет, не нравится.

— Мне нравится ездить спиной. — Цзинь заговорил голосом диктора новостей. — Он умер так же, как и жил. Задом наперед. Подробности — после игры.

Ему было хорошо. Столько силы в себе он не ощущал уже много дней, а то и недель, а то и дольше. Зажегся красный. На другой стороне авеню он увидел Джейн Мелмен, своего начальника финансовой службы, в шортиках для бега и топе — она рысила по-росомашьи. Остановилась у оговоренного места посадки — рядом с бронзовой статуей человека, голосующего такси.⁹ Затем, прищурившись, посмотрела в направлении Эрика — старалась определить, его это лимузин или чей-то чужой. Эрик знал, что она ему скажет — первую реплику, дословно, — и с нетерпением на нее рассчитывал. Уже слышал гнусавый воздушный поток ее говора. Ему нравилось знать, что грядет. Так подтверждается наличие некоего наследственного сценария, доступного тем, кто способен его дешифровать.

Цзинь выскочил в дверь, не успела машина пересечь Парк-авеню. На разделительной полосе стояла женщина в сером спандексе, держала на весу дохлую крысу. Похоже, какой-то перформанс. Зажегся зеленый, и загудели клаксоны. На зданиях повсюду в этом районе названия финансовых учреждений были выгравированы на бронзовых стелах, высечены в

⁹ Статуя «Такси» (1983) работы скульптора Дж. Сьюарда Джонсона-мл. находится на углу Парк-авеню и 48-й улицы.

мраморе, процарапаны сусальным золотом по граненому стеклу.

Мелмен бежала на месте. Когда машина остановилась на углу, она выступила из-под тени стеклянной башни за спиной и ввалилась в заднюю дверцу — сплошь локти и блестящие колени, веб-телефон в кобуре на поясе. Она запыхалась и вспотела после пробежки, рухнула на откидное сиденье с каким-то мрачным облегчением — с таким сбрасывают балласт в туалете.

— Все эти лимузины, господа, один от другого не отличишь.

Он сощурился и кивнул.

— Мы прямо как детки перед выпускным, — сказала она. — Или какая-нибудь тупая свадьба где-нибудь. В чем шарм одинакового?

Он глянул в окно, отвечая тихо — тема была ему настолько безынтересна, что замечание пришлось адресовать стали и стеклу снаружи, равнодушной улице.

— В том, что я влиятельный человек, который предпочитает не метить территорию отдельными струйками мочи, — может, так? Мне следует за что-то извиняться?

— Я хочу домой, целоваться взапас с Максимой.

Машина не двигалась. Сверху обрушивался грохот, от которого прохожие, идя мимо, прикрывались: гортанные раскаты гранитной башни имени огромной инвестиционной фирмы, ее возводили на южной стороне улицы.

— Вам, кстати, известно, что сегодня за день.

— Известно.

— Сегодня у меня выходной, черт побери.

— Я это знаю.

— Мне отчаянно нужен этот лишний день.

— Я знаю.

— Ничего вы не знаете. Вы не можете знать, каково это. Я мать-одиночка в бедственном положении.

— У нас ситуация.

— Я мать и бегая в парке, как вдруг у меня в пупке взрывается телефон. Думаю, что это ребенкина нянька — она никогда не звонит, пока температура не поднимется до ста пяти.¹⁰ А у нас, оказывается, ситуация. Еще какая ситуация. Иену сносит так, что нас может раздавить через несколько часов.

— Выпей воды. Посиди на банкетке.

— Мне нравится лицом к лицу. И мне совсем не обязательно смотреть на все эти экраны, — сказала она. — Я и так знаю, что происходит.

— Иена упадет.

— Точно.

— Потребительские расходы снижаются, — сказал он.

— Точно. А кроме того, Банк Японии оставил процентные ставки без изменений.

— Это сегодня случилось?

— Это случилось ночью. В Токио. Я позвонила своему источнику в Никкей.

— На бегу.

— Пока рвала когти по Мэдисон-авеню, чтобы успеть сюда.

— Иена не может подняться выше.

— Это правда. Точно, — сказала она. — Но она только что поднялась.

Эрик посмотрел на нее, розовую, взмокшую. Машина слабо продвинулась вперед, и в нем шевельнулась меланхолия — казалось, ей пришлось преодолеть глубочайшие доли пространства, чтобы дотянуться до него, застрявшего посреди города. Он выглянул в окно — причудливый композит, эти люди на улице машут проезжающим такси, перебегают на красный свет, все вместе едины и цельны, стоят в очередях к банкоматам у банка «Чейз».

¹⁰ По Фаренгейту. 40,56 С.

Она сообщила Эрику, что он выглядит кисло.

Автобусы рокотали по улице двойками, кашляя и задыхаясь, попарно или строем в затылок, короткими очередями выпускали людей на тротуар, живая добыча, ничего нового, там же и строители обедали, усевшись под банковские стены, вытянув ноги, ржавые башмаки, оценивающие взгляды — все нацелены на поток людей, марш мимо, приглядываются ко внешности, к шагу и стилю, к женщинам в деловых юбках, они чуть ли не бегут, к женщинам с головными гарнитурами и в сандалиях, к женщинам в мешковатых шортах, к туристкам, к иным обалделым и лоснящимся, с ногтями из кино про вампиров, длинными, к клыкастым и наштукатуренным, эти рабочие настороже, подмечают любую причудь, тех, у кого прически, одежда или походка могут быть насмешкой над тем, что эти рабочие делают, на высоте сорока этажей, либо зануд с мобильниками, которые раздражают их вообще.

Такие сцены его обычно возбуждали — великое алчное течение, в котором каждый анекдотический миг лепится физической волей города, лихорадкой человеческих я, притязаниями промышленности, коммерции и толпы.

Он услышал собственный голос из некой точки недалекого пространства.

— Я вчера ночью не спал, — сказал он.

Машина пересекла Мэдисон и остановилась перед Торговой библиотекой,¹¹ как и планировалось. В обе стороны по улице тянулись едальни. Он подумал обо всех, кто ест, о жизнях, что истощаются за обедом. Что стоит за этой мыслью? Подумал об уборщиках, сметающих крошки со столов. Официанты и уборщики не мрут. Не являются только едоки — один за другим, с течением времени, берут и не приходят за своим супом с пачкой крекеров в придачу.

К машине подошел мужчина в костюме и галстук, в руках — небольшой ранец. Эрик отвернулся. Из разума слилось все, за исключением чего-то связанного с пафосом самого слова «ранец». Ведь может рассудок вдруг отупеть — тактическая уловка уклонения или подавления, реакция на вдруг нависшую угрозу, прилично одетый человек с бомбой в чемоданчике, что даже в самой изобретательной мысли не найдется утешения, не останется времени на прилив ощущений, на естественный бросок, которым может сопровождаться опасность.

Когда мужчина постучал в окно, Эрик на него не взглянул.

Тут же на месте оказался Торваль — взгляд тугой, рука под пиджаком, с флангов заходят два помощника, мужчина и женщина, поразительно жизнеподобны, вынырнув из визуальной статики обеденного роя на улице.

Торваль навис над человеком.

И спросил:

— Вы, блядь, кто?

— Прошу прощения.

— Время ограничено.

— Доктор Инграм.

Торваль уже заломил мужчине руку назад. Прижал к борту автомобиля. Эрик подался ближе к окну и опустил его. В воздухе мешались запахи еды — кориандр, луковый суп, чад жарящихся пирожков с говядиной. Помощники встали вольным оцеплением, оба лицами прочь от места действия.

Из японского ресторана «Ёдо» вышли две женщины — и тотчас нырнули обратно.

Эрик посмотрел на мужчину. Хорошо бы Торваль его застрелил — ну или хотя бы приставил ему пистолет к голове.

¹¹ Торговая библиотека (ныне Центр художественной литературы) — некоммерческая организация, учрежденная в 1820 г. Торговой палатой Нью-Йорка для популяризации художественной литературы среди торговых клерков. Располагается на Восточной 47-й улице между Мэдисон и Пятой авеню.

Он сказал:

— Вы кто, блядь, такой?

— Доктор Инграм.

— Где доктор Невиус?

— Неожиданно вызвали. По личным делам.

— Говорите медленно и членораздельно.

— Его неожиданно вызвали. Я не знаю. Какой-то семейный кризис. Я его коллега.

Эрик задумался.

— Я вам когда-то уши промывал.

Эрик взглянул на Торваля и кратко кивнул.

Потом закрыл окно.

Он сидел по пояс голый. Инграм раскрыл свой ранец на комплекте недвусмысленных инструментов. Приложил стетоскоп к груди Эрика. Тот сообразил, еще как сообразил, почему на нем нет майки. Ее он оставил на полу спальни у Диди Фэнчер.

Пока врач слушал, как открываются и закрываются его сердечные клапаны, Эрик смотрел мимо Инграма. Машина рывками постепенно пробиравалась на запад. Он не знал, почему до сих пор используют стетоскопы. Забытые инструменты древности, такие же причудливые, как и пиявки.

Джейн Мелмен сказала:

— Вы это вот что.

— Вот это. Каждый день.

— Неважно.

— Где бы ни был. Именно. Неважно.

Она чуть закинула голову и сунула бутылку родниковой воды куда-то в середину лица.

Инграм сделал эхокардиограмму. Эрик лежал на спине, монитор виден лишь искоса, и не был уверен, на что он смотрит — на компьютеризованную схему собственного сердца или на изображение его же. На экране оно лишь яростно пульсировало. Изображение всего в каком-то футе, но сердце обрело новый смысл — дальности, огромности, оно билось в кроваво-сливовом восторге рождающейся галактики. Что за таинство подметил он в этой функциональной мышце? Он ощутил страсть тела, его стремление приспособиться к геологическому времени, поэзию и химию его истоков в пыли старых взрывающихся звезд. Рядом с этим сердцем он себе чудился карликом. Вот оно, и он от него в священном ужасе: видит свою жизнь под грудиной — формирующими изображение блоками, она колотится вне его.

Инграму он ничего не сказал. Ему не хотелось разговаривать с коллегой. С Невиусом время от времени он беседовал. В Невиусе есть определенность. Седой, высокий и крепкий, в голосе слышится отзвук Центральной Европы. Инграм лишь бормотал инструкции, а не разговаривал. Дышите глубже. Повернитесь налево. Ему трудно сказать такое, чего он еще не говорил, слова выстраивались той же нудной последовательностью, что и тысячу раз прежде.

Мелмен сказала:

— Так вы это вот. Одно и то же каждый день.

— С вариациями, в зависимости.

— Значит, он к вам домой приходит, мило, по выходным.

— По выходным, Джейн, мы тоже умираем. Люди. Бывает.

— Вы правы. Я об этом не подумала.

— Умираем, потому что выходные.

Он по-прежнему лежал на спине. Она сидела лицом к его макушке и разговаривала с точкой чуть выше нее.

— Я думала, мы движемся. Но уже нет.

— В городе президент.

— Вы правы. Я забыла. Мне показалось, я его видела, когда выбегала из парка. По Пятой шел кортеж лимузинов в сопровождении мотоциклистов. Я подумала, столько лимузинов для президента — это я еще могу понять. Но то были похороны кого-то знаменитого.

— Каждый день умираем, — сообщил он ей.

Теперь он сидел на столе, а Инграм искал припухшие лимфатические узлы у него под мышками. Эрик показал на пробку из кожного сала и клеточного мусора в нижней части живота, угорь, чуть зловещий на вид.

— Что с этим будем делать?

— Пусть предъявит себя.

— Что. Ничего не делать.

— Пусть предъявит себя, — сказал Инграм.

Эрику понравилось, как звучит. Не сказать, что не вызывало воспоминаний. Он попробовал заметить коллегу. У него, к примеру, усы. Эрик их только что заметил. Он рассчитывал увидеть и очки. Но мужчина не носил очков, хотя вроде должен бы, беря во внимание тип лица и общую манеру — такой человек носит очки с детства, выглядит сверхзащищенным и маргинализированным, его третируют другие мальчишки. Можно поклясться, такой должен носить очки.

Он попросил Эрика встать. Стол для обследований сократил вдвое по длине. Затем попросил опустить брюки и трусы и нагнуться над ближним концом стола, слегка расставив ноги.

Эрик подчинился и оказался лицом к лицу с начальницей финансовой службы.

Она сказала:

— Так послушайте. На нас работают два слуха. Во-первых — уже полгода непрерывные банкротства. С каждым месяцем все больше. И еще больше грянет. Крупные японские корпорации. Это хорошо.

— Иена должна упасть.

— Это утрата веры. Она вынудит иену упасть.

— Доллар укрепитя.

— Иена упадет, — сказала она.

Он услышал склизкий шелест латекса. Затем вторгся палец Инграма.

— Где Цзинь? — спросила она.

— Работает над визуальными паттернами.

— Оно не отражается на графиках.

— Отражается.

— Оно не отражается так, как обычно отражаешь акции технологических компаний. Там можно отыскать настоящие паттерны. Засечь предсказуемые компоненты. А тут иначе.

— Мы учим его видеть.

— Видеть должны вы. Вы у нас провидец. А он что? Пацан. У него прядь в волосах. Сережку носит.

— Не носит он сережку.

— Витал бы в облаках еще чуть больше, его пришлось бы перевести на систему жизнеобеспечения.

Он спросил:

— Что второй слух?

Инграм изучал простату на предмет симптомов. Пальпировал, палец лукаво тыкался в железу сквозь ректальную стенку. Болезненно — вероятно, просто мышцы анального канала напрягаются. Но саднит. Это боль. Обегает все цепи нервных клеток. Согнувшись так, Эрик смотрел прямо в лицо Джейн. Ему это нравилось, даже самого удивило. В конторе она присутствовала раздраженно, скептически, противопоставляла себя, держалась отстраненно, располагала даром подолгу жаловаться. А тут — мать-одиночка после пробежки, на откидном сиденье, коленками вовнутрь, трогательно как-то даже костлявая. Клякса волос

влажно и плоско лежала на лбу, являя первые слабенькие жилки седины. В вялой руке болталась бутылка с водой.

Она не ретировалась под его взглядом. Смотрела прямо в глаза. Над отвисшим краем топа виднелась узловатая ключица. Ему хотелось слизнуть пот с внутренней стороны ее запястья. У нее запястья, большие берцовые кости и не намазанные бальзамом губы.

— Похоже, ходит слух о министре финансов. Предполагается, в любой момент уйдет в отставку, — сказала она. — Какой-то скандал о неверно истолкованном замечании. Он что-то сказал об экономике, и это могли не так понять. Вся страна разбирает грамматику и синтаксис его замечания. Или дело даже не в том, что он сказал. А где сделал паузу. Они пытаются истолковать смысл паузы. Все может оказаться гораздо глубже грамматики. Может, дело в его дыхании.

Когда Невиус работал пальцем, все заканчивалось через пару секунд. Инграм же раскапывал какой-то мрачный факт. Фактом была Джейн. Бутылка у нее лежала в промежности, колени распахнулись и наблюдали за ним. Ее рот открылся, обнажив крупные щелястые зубы. Между Эриком и ею что-то просквозило — в глубине, симпатия за пределами стандартных значений, однако эти значения включены в нее, жалость, сродство, нежность, вся физиология маневра нервов, боя сердца и секреции, некое неохватное возбуждение биологического пола повлекло его к ней, усложненно, с пальцем Инграма у него в заднице.

— Значит, вся экономика в конвульсиях, — сказала она, — из-за того, что кто-то перевел дух.

Он такое чувствовал. Чувствовал боль. Она продвигалась своими тропками. Сообщала о себе ганглиям и спинному мозгу. Он — в этом теле, в конструкции, от которой теоретически ему бы хотелось отказаться, несмотря на то, что он сам ее возводил тщательно отмеренным воздействием гантелей и штанг. Он хотел вынести ей приговор: избыточная, не обязательная. Конвертируется в волновые порядки информации. Вот что он наблюдал на овальном экране, когда не смотрел на Джейн.

— Ты стискиваешь бутылку.

— Это пластик мягкий.

— Ты ее стискиваешь. Душишь.

— Это само собой.

— Это сексуальное напряжение.

— Это повседневная нервозность жизни.

— Это сексуальное напряжение, — сказал он.

Он велел Инграму дотянуться свободной рукой до пиджака на вешалке и выудить оттуда темные очки. Коллеге удалось. Эрик надел очки.

— В такие дни.

— Что? — спросила она.

— Мое настроение меняется и гнется. Но когда я жив и прищипорен, я сверхпроницателен. Знаешь, что я вижу, когда смотрю на тебя? Женщину, которая желает бесстыдно жить в собственном теле. Скажи мне, что это неправда. Тебе хочется следовать за телом в леность и плотскость. Поэтому тебе и нужно бегать — чтобы избежать этой склонности своей натуры. Скажи мне, что я сочиняю. Не можешь. У тебя это на лице написано, всё, как редко у кого на лицах бывает. Что я вижу? Нечто ленивое, сексуальное и ненасытное.

— Мне так удобно.

— Это та женщина, которая ты в жизни. Глядя на тебя — что? Я возбужден больше, чем в первые жгучие ночи подросткового буйства. Возбужден и смущен. Смотрю на тебя — и у меня встает, хотя ситуация рьяно не располагает.

— Он не в том положении. Психологически не способен, — сказала она. — Он знает, что происходит сзади.

— Все равно. В такие дни. Смотрю на тебя и электризуюсь. Скажи мне, что ты этого не

чувствуешь. Едва ты сюда села в этих своих трагических регалиях бега. Со всей этой тоской иудео-христианских пробежек. Ты не для бега родилась. Я на тебя смотрю. Я знаю, что ты такое. Ты неопытна телесно, дурно пахнешь и вся сочишься. Такая женщина родилась для того, чтобы ее привязывали к стулу, а мужчина ей говорил, как сильно она его возбуждает.

— Отчего мы никогда так не проводили вместе время?

— Секс нас отыскивает сам. Секс видит нас насквозь. Потому-то он так и потрясает. Срывает с нас все притворство. Я вижу близкую голую женщину — она в изнеможении, она хочет, она поглаживает пластиковую бутылку, зажатую в бедрах. Неужто честь вынуждает меня считать ее менеджером высшего звена и матерью? Она видит мужчину в позе отвратительного унижения. Правильно ли я о нем думаю — у него штаны спущены на лодыжки, а жопа отклячена? Какие вопросы он себе задает из этого положения в мире? Может, и важные. Какие навязчиво задает наука. *Почему что-то, а не ничто? Почему музыка, а не шум?* Красивые вопросы, странным образом соответствующие его нынешнему падению. Или же он ограничен в перспективе и думает лишь о текущем моменте? О боли думает.

Боль была местной, но, казалось, впитывала все окружающее — органы, предметы, звуки с улицы, слова. Точка адского восприятия — постоянная, она не менялась в степени, да и не точка вовсе, а какой-то скрученный в узел чужой мозг, контрсознание, но и не оно тоже, располагалось в основании мочевого пузыря. Он действовал изнутри. Мог думать и говорить о другом — но лишь из боли. Он весь жил в железе, в ошпаривающем факте собственной биологии.

— Сожалеет ли он о собственном отказе от достоинства и гордости? Или в нем есть тайное желание самоуничтожения? — Он улыбнулся Джейн. — Его мужественность — одно притворство? Любит ли он себя — или ненавидит? По-моему, он сам не знает. Или у него все меняется от минуты к минуте. Или вопрос настолько подразумеваем всем, что он делает, что он даже не может выйти наружу и ответить.

Он считал, что серьезен. Совсем не думал, что говорит это для пущего эффекта. Это были серьезные вопросы. Он знал, что они серьезны, но не был уверен.

— В такие дни. Он щелкает пальцами, и вспыхивает пламя. Всякая восприимчивость, все его настройки. Готово случиться такое, что обычно не происходит. Она знает, о чем он, им даже не нужно соприкасаться. То же, что происходит с ним, происходит и с ней. Ей не нужно заползать под стол и сосать ему член. Слишком это банально, ни ее, ни его не интересует. Поток меж ними слишком силен. Эмоциональный тон. Пусть предъявит себя. Он видит ее в этой грязи, и тазовые мышцы у него начинают трепетать. Он говорит: «Вели мне прекратить, и я остановлюсь». Но не хочет, чтобы она отвечала. Нет времени. Хвостики его сперматозоидов уже хлещут в нетерпении. Она его любимая, и возлюбленная, и шлюха бессмертная. Ему не нужно творить то невыразимое, что он хочет сотворить. Ему нужно это лишь выговорить. Потому что они уже вышли за рамки любых моделей принятого поведения. Ему нужно лишь сказать слова.

— Скажите слова.

— Я хочу выебать тебя бутылкой — медленно и не снимая темных очков.

Ноги вылетели из-под нее. Она испустила нечто — звук, себя, душу свою быстрой восходящей модуляцией.

Он увидел свое лицо на экране — глаза закрыты, рот в рамке беззвучного обезьяньего воя.

Он знал, что скрытая камера работает в реальном времени, ну или должна. Как он может себя видеть, если у него закрыты глаза? Времени на анализ не было. Он ощутил, как его тело догнало независимое изображение.

Мужчина и женщина достигли завершенности более-менее вместе — не касаясь ни друг друга, ни себя.

Коллега содрал перчатку с руки и шлепнул ею в мусорную корзину, треск и шмяк,

исполненные темного смысла.

По всей улице гудели клаксоны. Эрик начал одеваться, дожидаясь, чтобы Инграм употребил слово «асимметрично». Но тот ничего не сказал. Его настоящий врач, Невиус, однажды использовал это слово при пальпировании, ничего не объясняя. Эрик виделся с Невиусом чуть ли не каждый день, но никогда не спрашивал, что подразумевается под этим словом.

Ему нравилось проследить ответы на трудные вопросы. Таков его метод для достижения власти над идеями и людьми. Однако в идее асимметричности что-то не то. Она интригует в мире вне пределов тела, противодействует равновесию и спокойствию, эдакий загадочный подвыверт, субатомный, от которого и пошло творение. Само слово змеевидное, чуть сбито на сторону, одна дополнительная буква все меняет. Но стоило ему извлечь это слово из его космологического реестра и применить к телу млекопитающего мужского пола, к своему телу, как он побледнел и перепугался. К этому слову он ощущал некое извращенное почтение. Страх его, дистанцию от. Когда он слышал это слово в контексте мочи и спермы, и когда думал об этом слове в тени обоссанных брюк — раз, и отчаянии вялого члена — два, пугался он до суеверного молчания.

Он снял солнечные очки и присмотрелся к Инграму. Попробовал прочесть по лицу. Там не было никакого аффекта. Он подумал было надеть темные очки на коллегу, чтобы тот стал реальным, чтобы при сканировании восприятием других в нем появился смысл, но очки тут должны быть прозрачными, с толстыми стеклами, жизнеопределяющими. Если б знал его лет десять, может, и заметил бы за столько времени, что он не носит очков. То было лицо, потерянное без них.

Заговорил не Инграм. А Джейн Мелмен, задержавшись у распахнутой двери перед тем, как возобновить свою прерванную пробежку.

— Я хочу сказать одну глубоко несложную вещь. Есть время выбрать. Можете расслабиться, смириться с потерями и вернуться с новыми силами. Еще не поздно. Этот выбор вы можете сделать. Вы отлично работали на наших инвесторов как на крепких, так и на шатких рынках. Большинство управляющих активами недооценивает рынок. Вы же его переоценивали, последовательно, и настроения толпы на вас никогда не влияли. Таково одно из ваших дарований.

Он не слушал. Он смотрел мимо нее на фигуру у банкомата возле израильского банка на северо-восточном углу: щуплый человечек что-то бормотал, стиснув зубы.

— Мы получаем выгоду, мы процветаем, хотя прочие фонды споткнулись, — говорила она. — Да, иена упадет. Мне не кажется, что она сумеет подняться еще выше. А вам тем временем следует отступить. Отвести войска. В этом деле я вам советую не только как начальник вашей финансовой службы, но и как женщина, которая до сих пор была бы замужем за кем-нибудь, если бы этот кто-нибудь смотрел на нее так, как вы сегодня смотрели на меня.

Теперь он на нее не смотрел. Она захлопнула дверцу и побежала на север по Пятой авеню, мимо затрапезного мужчинки у банкомата. Что-то в нем знакомое. Не полевая куртка хаки, не прическа будто из шредера. Может, сутулость. Но Эрику не было дела, знакомились они когда-то или нет. Знаком он когда-то бывал со многими. Кто-то умер, кто-то в вынужденной отставке, сидят себе тихонько на горшках или бродят по лесам с трехногими собачками.

Он думал об автоматических кассовых машинах. Термин устарел, он отягощен собственной исторической памятью. Сам себе противоречит, не способен избежать вмешательства бестолкового человеческого персонала и тряских движущихся деталей. Сам термин включен в тот процесс, который устройство призвано собой заменить. Он антифутуристичен, так громоздок и механистичен, что даже его общеупотребимое сокращение кажется устаревшим.

Инграм сложил смотровой стол в стойку. Упаковал все в ранец и вышел из машины, кратко глянув на Эрика через плечо. Остановился в неподвижности всего в паре шагов,

однако уже затерявшись в толпе, позабывшись, еще не договорив, с широко распахнутыми глазами и нарочитым безразличием в голосе.

— У вас асимметричная простата, — сказал он.

Исповедь Бенно Левина **Ночь**

Он умер, дословно. Я его перевернул и посмотрел. Глаза его были милосердно закрыты. Но милосердие тут при чем? В горле у него что-то екнуло — этот звук я пытался бы описать не одну неделю. Но как из звуков сделать слова? Это две отдельные системы, которые мы жалко пытаемся связать воедино.

Похоже на то, что сказал бы он. Должно быть, я снова произношу его слова. Поскольку уверен, что некогда он это сказал, проходя мимо моего рабочего места, — тому сказал, с кем шел, про то-то и то-то. Про изображения и зеркала. Или же любовь и секс. Это две отдельные системы, которые мы жалко пытаемся связать воедино.

Позвольте, я скажу за себя. У меня были работа и семья. Я старался любить и обеспечивать. Скольким из вас известна истинная и горькая сила слова «обеспечивать»? Всегда говорили, что я непредсказуем. Это он непредсказуем. У него проблемы с характером и гигиеной. Ходит он, что ни говори, смешно. Я ни разу не слышал ни единого из этих утверждений, но знал, что их высказывают, как чувствуешь что-нибудь во взгляде человека, а говорить при этом вовсе не обязательно.

Однажды я пригрозил по телефону, сам не веря в свою угрозу. А они сочли ее серьезной — как и должны были, я убежден, учитывая, сколько я знаю про фирму и ее работников. Но я не знал, как его выследить. Он перемещался по городу бессистемно. У него вооруженный эскорт. Здание, где он живет, недоступно для меня с моим нынешним рандомизированным облачением. И я это принял. Даже в фирме нелегко было найти его кабинет. Вечно менялся. Или же он его покидал — работал где-то в другом месте, или там, где оказывался, или дома в пристройке, поскольку на самом деле не отделял жизнь от работы, или ездил путешествовать и думать, или просто сидел и читал в своем, по слухам, доме у озера в горах.

Мои навязчивые идеи — они все в уме, в действие не приводятся.

Теперь же я в том положении, когда могу беседовать с его трупом. Говорить можно, не прерываясь, не поправляясь. Он не может мне сказать, что дело в том-то и том-то, или что я позорюсь, или сам себя обманываю. Не мыслю ясно. Именно это преступление он поместил в зал славы ужасов.

Пытаясь подавить гнев, я страдаю от приступов «хва-бьонга» (Корея).¹² Это преимущественно культурная паника, я ею заразился через Интернет.

Я был старшим преподавателем по прикладным вычислительным системам. Может, уже говорил — в местном колледже. А потом уехал, чтобы заработать свой миллион.

Карандаш, которым я пишу, желт, с цифрой 2. Хочу особо отметить инструменты, которыми пользуюсь, просто для протокола.

Я всегда осознавал, что *гов*орят словами или взглядами. Реальностью становится то, что люди, по их мнению, видят в другом человеке. Если считают, будто человек ходит кривобоко, то он ходит кривобоко, нескоординированно, ибо такова его роль в жизни вокруг, а если говорят, что на нем одежда плохо сидит, он научится не следить за своим гардеробом для того, чтобы над ними посмеяться, а себя наказать.

Я постоянно произношу в уме речи. Вы — тоже, только не всегда. Я это делаю постоянно, долгие речи к тому, кого никак не могу опознать. Но начинаю думать, что это он.

¹² Досл. «болезнь огненного раздражения» — корейское культуроспецифичное расстройство, соматическое душевное заболевание, характеризующееся эпигастральными симптомами и страхом надвигающейся смерти.

У меня есть бумага — стандартный формат, в голубую линейку. Я хочу написать десять тысяч страниц. Но уже вижу, что повторяюсь. Я повторяюсь.

Перевернув его, я обшарил карманы, но ничего не нашел. Один карман у него порвался. На голове у него лиловая рана, с коркой, не то чтобы меня интересовало описание. Меня интересуют деньги. Я искал денег. С одной стороны его подстригли, а с другой нет, и он лежал в ботинках, но без носков. От тела воняло.

Электричество я краду у фонарного столба. Сомневаюсь, что это пришло бы ему в голову, — для моего жизненного пространства.

Реверсирований я переживал много, но я не из тех урезанных личностей, которых можно видеть на улицах, что живут и мыслят минутами. В философском смысле я живу на краю земли. Вещи собираю, это правда, с местных тротуаров. Из того, что люди выбрасывают, можно выстроить нацию. Иногда слышу свой голос, когда говорю. Я говорю с кем-то и слышу, как звук моего голоса, в третьем лице, наполняет воздух вокруг моей головы.

Когда здание обрели на снос, Город забил окна. Но я отодрал доску, чтобы проветривалось. Нереальной жизнью я не живу. Я живу практичной жизнью — начинаю все сызнава, мои ценности среднего класса остались нетронуты. Я сношу стены, потому что не хочу жить в наборе дворики, где жили другие, с дверями и узенькими коридорами, целыми семьями с их туго упакованной жизнью, столько-то шагов до кровати, столько-то до двери. Я хочу жить открытой жизнью разума, где может процветать моя Исповедь.

Но бывают времена, когда мне хочется тереться о дверь или стену — ради сочувственного контакта.

Мне хотелось его карманных денег в силу их личных свойств, а несколько не в силу ценности. Я желал их близости и касания, его касания, пятна его личной грязи на них. Мне хотелось натереть лицо его купюрами, чтобы напомнить себе, зачем я его застрелил.

Некоторое время я не мог отвести глаз от тела. Заглянул в рот — не гниет ли уже. Вот тогда-то и услышал звук из горла. Я совсем уже рассчитывал, что он со мной заговорит. Я бы не прочь был с ним еще побеседовать. После всего, что мы наговорили друг другу за долгую ночь, я понимаю — мне есть что еще сказать. У меня в уме шевелятся великие темы. Темы одиночества и слива людей. А еще — кого мне ненавидеть, когда больше никого не осталось.

Комплекс — разведслужба фирмы. Вот куда я позвонил со своей преимущественно пустой угрозой. Я знал, они истолкуют мои замечания как особые знания бывшего сотрудника, быстро соберут на таковых данные. Меня это удовлетворяло — сообщать им их же имена, даже фамилию чьей-то матери в девичестве, блистательный и красноречивый выпад, описывать процедуры и режимы. Теперь я проник им в головы, у нас контакт. Не нужно нести бремя одному.

У меня есть письменный стол, я затащил его с улицы, по переулку и вверх по лестнице. Предприятие на несколько дней — с целой системой клиньев и веревок. На это у меня ушло два дня.

Я никогда не ощущал различия во времени между ребенком и мужчиной, мальчиком и мужем. Сознательно я никогда не был ребенком — в том смысле, в каком обычно употребляют это название. Я себя ощущаю тем же, чем был всегда.

Раньше, после того как меня уволили, я писал ему письма, а потом перестал — жалкое занятие. А кроме того, я знал, что в моей жизни что-то должно быть жалким, но все же вынудил себя прервать контакт. Тот факт, что он этих писем все равно бы никогда не увидел, ничего не менял. Их видел я. Все дело в том, чтобы писать их и самому читать. Поэтому прикиньте, как я удивился, когда мне не пришлось его выслеживать и помогать, для чего я был не оснащен, да и вообще меня обуревали противовесные силы касаясь того, умирает он или нет.

И что бы я им ни сказал по телефону и как быстро ни собрали бы они данные — как им бы удалось выследить меня до моего нынешнего места и образа обитания?

У меня нет часов, ни наручных, ни иных. Я теперь мыслю о времени в иных

цельностях. Отрезок времени, отпущенный лично мне, противопоставлен огромным исчислениям, времени Земли, звезд, невнятным световым годам, возрасту Вселенной и т. д.

Мир должен означать нечто самодостаточное. Только ничего самодостаточного не бывает. Все проникает во что-то еще. Мои маленькие дни выливаются в световые годы. Именно поэтому я могу лишь притворяться кем-то. И поэтому я вначале ощутил себя вторичным, пока работал над этими страницами. Не понимал, я ли это пишу или же тот, на кого я желал походить голосом.

У меня по-прежнему остался банк, который я систематически навещаю — посмотреть на буквальные доллары, еще лежащие на моем счете. Делаю я это ради текущей психологии такого действия: знать, что в некоем заведении у меня имеются деньги. А также поскольку у автоматических кассиров есть харизма, которая на меня по-прежнему действует.

Я пишу этот дневник, а в десяти шагах от меня лежит мертвый человек. Так, любопытно. В двенадцати шагах. Говорили, что у меня проблемы с нормальностью, и меня деноминировали до меньшей валюты. Я стал мелким техническим элементом фирмы, техническим фактом. Я для них был безликой рабсилой. И принял это. Они выставили меня без предупреждения, без выходного пособия. И это я тоже принял.

Один мой синдром — возбужденное поведение и крайнее замешательство. В переводе он известен на Гаити и в Восточной Африке как «вспышки бреда». В сегодняшнем мире все общее. Каким же страданием нельзя поделиться?

Я всегда читал не ради удовольствия, даже ребенком. Я никогда не читал ради удовольствия. Понимайте как хотите. Я слишком много думаю о себе. Изучаю себя. Меня от этого тошнит. Но для меня тут больше нет ничего. Я только это и есмь. Мое так называемое это — маленькая загогулина, которая, быть может, и не отличается от вашей, но в то же время я с уверенностью могу сказать, что оно активно, бурлит собственной важностью и все время терпит грандиозные поражения и одерживает грандиозные победы. У меня есть велотренажер с оторванной педалью, который кто-то вынес на улицу как-то ночью.

А кроме того, под рукой у меня сигареты. Мне хочется чувствовать себя писателем и его сигаретой. Только они кончились, нету больше, в пачке на доньшке только крошки, которые я уже напрочь слизнул, и меня подмывает нюхать дыхание мертвого человека — что там у него за вкус, какую сигару он выкурил неделю назад в Лондоне.

Весь день все больше убеждался, что не могу этого сделать. Потом сделал. Вспомнить бы теперь, зачем.

Я думал, что истрачу все эти годы, сколько бы их там ни ушло на сочинение десяти тысяч страниц, и тогда у вас был бы документ, литература о жизни пробужденной и спящей, поскольку и сны, и крохотные уколы памяти, и все эти достойные сожаления привычки и секретники, и все, что вокруг меня, тогда бы сюда вошло, шумы на улице, но я впервые осознаю — вот сейчас, в эту минуту, что даже все мышление и писание на свете не опишут того, что ощутил я в тот кошмарный миг, когда выстрелил и увидел, как он упал. Так что же осталось, о чем стоит рассказывать?

2

Машина пересекла авеню в Вест-Сайд — и тут же пришлось сбросить скорость, заехали на переход не на тот свет, обтекают волны пешеходов.

Голос Торваля известил о прорыве водопровода где-то впереди.

Эрик видел его помощников по безопасности, по одному с каждой стороны лимузина — они шли размеренным шагом, оба в идентичных костюмах: темные блейзеры, серые брюки и водолазки.

Один экран показывал столб ржавой слякоти — он бил из дыры в мостовой. Эрику стало от него хорошо. Другие экраны показывали, как движутся деньги. Горизонтально текли цифры, вверх и вниз качались гистограммы. Он знал: там есть такое, чего никто не засек, паттерн, скрытый в самой природе, скачок графического языка, вышедший за пределы

стандартных моделей технического анализа и обманувший предсказания даже тех сокровенных графиков, что чертят его собственные последователи в этой области. Должен быть какой-то способ объяснить иену.

Хотелось есть, он почти изголодался. Бывали дни, когда он все время хотел есть, разговаривать с людскими лицами, обитать в мясном пространстве. Он перестал смотреть на компьютерные экраны и повернулся к улице. Въехали в «алмазный район»,¹³ и Эрик опустил окно — снаружи билась живая коммерция. Почти каждый магазин держал в витрине драгоценности, и покупатели обследовали обе стороны улицы — проскальзывали между банковскими броневиками и фургонами частных охранных агентств, чтобы поглазеть на тонкой работы швейцарские часы или поесть в кошерной закуской.

Машина двигалась ползком, по дюйму.

Хасиды в сюртуках и высоких фетровых шляпах беседовали, стоя в дверных проемах, мужчины в очках без оправ, с грубыми белыми бородами, уличная тряска их не касалась. За этими стенами туда-сюда перемещались сотни миллионов долларов в день — настолько устаревшая форма денег, что Эрик даже не знал, как о ней и думать. Твердая, блестящая, многогранная. Все, что он оставил позади либо никогда и не встречал: граненое, шлифованное, насыщенно трехмерное. Люди это носят и сверкают этим. Снимают, ложась спать или занимаясь сексом, надевают позаниматься сексом или умереть. Носят это мертвыми и похороненными.

Хасиды ходили по улице, те, что помладше, — в темных костюмах и внушительных Федорах, лица бледные и пустые, эти люди, решил он, видят друг друга, лишь исчезая в магазины или ныряя в подземку. Он знал, что торговцы и гранильщики сидят в задних комнатах; интересно, сделки до сих пор заключаются в дверях, скрепляются рукопожатием и благословением на идиш? В текстуре улицы он ощущал Нижний Ист-Сайд 1920-х и алмазные центры Европы перед Второй мировой — Амстердам и Антверпен. Какую-то историю он знал. Он увидел женщину — она сидела на тротуаре, просила милостыню, на руках младенец. Говорила на языке, которого он не признал. Языки он тоже знал, но не этот. Казалось, она выросла в участок бетона. Может, и ребенок у нее тут же родился, под знаком «Парковка запрещена». Фургоны «ФедЭкса» и «Ю-пи-эс». Черные носили рекламные щиты и бормотали по-африкански. Наличка за золото и алмазы. Кольца, монеты, жемчуг, драгоценности оптом, антикварные драгоценности. Это сук, штетл. Здесь торгаши и сплетники, ветошники, торговцы слухами. Улица — оскорбление для истины будущего. Но она в Эрике отзывалась. Она проникала в каждый его рецептор и электрически сигала в мозг.

Машина остановилась намертво, и он вышел, потянулся. Пробка впереди была сплошь длинным мерцанием работающего вхолостую металла. К нему подходил Торваль.

— Настоятельно сменить маршрут.

— Ситуация какова.

— Такова. Улицы впереди затоплены. Хаос. Вот так. Вопрос президента и его местопребывания. Он подвижен. Перемещается. И куда бы ни поехал, наш спутниковый приемник сообщает о волновом эффекте уличного движения, который вызывает массовый паралич. Вот еще что. По центру города медленно движется похоронная процессия, теперь она смещается к западу. Множество машин, многие плакальщики идут пешком. И, наконец, вот. У нас сообщение о неизбежной активности в этом районе.

— Активности.

— Неизбежной. Природа пока не выяснена. Комплекс рекомендует: применить осторожность.

Человек ждал ответа. Эрик смотрел мимо него на огромную витрину — одну из

¹³ «Алмазным районом» называют квартал Западной 47-й улицы между Пятой и Шестой авеню на Манхэттене, центр мировой торговли алмазами, в который к середине XX в. переехали торговцы драгоценностями из двух ранее существовавших районов (между Кэнал-стрит и Бауэри, существовавшего с начала 1920-х гг., и Финансового, существовавшего с начала 1930-х). Это переселение началось в 1941 г.

немногих на этой улице, в которой не показывали ряды ценных металлов, оправляющих драгоценности. Улицу он чувствовал вокруг себя — неослабную, люди миновали друг друга кодированными мгновениями жеста и танца. Пытались идти, не сбавляя темпа, поскольку сбавить темп — благое намерение и слабость, — но иногда им приходилось уклоняться и даже замирать, и почти всегда они отводили взгляды. Зрительный контакт — дело тонкое. Встреча глазами на четверть секунды — уже нарушение того договора, по которому работает город. Кто уступает дорогу кому, кто на кого смотрит или не смотрит, какой уровень обиды составляет случайное касание или слабый толчок? Никому не хотелось, чтобы его трогали. Заключен пакт о неприкасаемости. Даже тут, в неразберихе старых культур, насквозь тактильной и туготканой, с подмешанными сюда прохожими, охранниками, покупателями, прилипшими к витринам, и бродячими шутами, — люди не касались друг друга.

Он стоял в поэтическом алькове «Книжного рынка Готэма»,¹⁴ листал брошюры. Он всегда просматривал тонкие книжки, толщиной в полпальца, а то и меньше, выбирал, какие стихи почитать, соображаясь с их длиной и шириной. Искал произведения в четыре, пять, шесть строк. Такие стихи он изучал дотошно, вдумываясь в каждый намек, и чувства его, казалось, парили в белом пространстве вокруг строк. Вот значки на странице, вот сама страница. Белое важно для души стихотворения.

К западу гудели клаксоны, завывали электрические стенания аварийных автомобилей, которые до сих пор иногда называли «Скорой помощью», припиленных к месту в стоячем потоке машин.

Мимо прошла женщина, у него за спиной, и он обернулся посмотреть, не успел, даже не уверен, как понял, что это женщина. Он не заметил, как она входила в заднюю комнату, но знал, что вошла. А кроме того, знал, что должен пойти следом.

Торваль не стал заходить с ним в книжный. У выхода разместился помощник — женщина из комплекта, глаза кратко отрываются от книги в руках.

Он прошел в заднюю комнату, где несколько покупателей эксгумировали затерянные романы из глубоких гробниц полок. Среди них — женщина, и стоило бросить на нее единственный взгляд, чтобы понять: не та, кого он ищет. Откуда он это знает? Он не знал, но знал. Эрик заглянул в кабинеты и туалет персонала и обнаружил, что в эту часть магазина ведут две двери. Когда он вошел в одну, она вышла в другую — та женщина, которую он искал.

Он вернулся в главный торговый зал и постоял на старых половицах среди нераспакованных коробок, в благоухании поблекших десятилетий, осмотрел все вокруг. Среди продавцов и покупателей ее не было. Эрик понял, что телохранительница улыбается ему — черная женщина с поразительным лицом, а глаза ее игриво гуляют к выходу справа от нее. Он подошел и открыл дверь в коридор: у одной стены стопки книг, на другой фотографии поэтов-социопаатов. На галерею над главным залом вели ступени, и на них сидела женщина, безошибочно та самая. В ее покое различалось некое качество, легкость осанки, и тут он увидел, кто это. Элиза Шифрин, его жена, читала книжку стихов.

Он сказал:

— Почитай мне.

Она подняла голову и улыбнулась. Он встал на колени на ступеньку ниже и возложил руки на ее лодыжки, любуясь ее молочными глазами над верхним обрезом книги.

— Где твой галстук? — спросила она.

— Был медосмотр. Видел свое сердце на экране.

Он пробежал ладонями по ее икрам к канавкам под коленями.

¹⁴ «Книжный рынок Готэма» (1920–2007) — культовый книжный магазин и литературный салон, основанный Фрэнсис Стелофф (1888–1989). Неоднократно кочевал по Манхэттену, но с 1946 по 2004 г. располагался в здании по Западной 47-й улице, 41, в «алмазном районе», и был единственным «аномальным» заведением в нем, не связанным с торговлей драгоценностями.

— Мне не нравится так говорить.

— Но.

— От тебя пахнет сексом.

— Это врачебный осмотр бьет тебе в нос.

— Ты весь пахнешь сексом.

— Это вот что. Это запах голода, — сказал он. — Хочу пообедать. Ты хочешь пообедать. Мы люди в мире. Нам нужно есть и разговаривать.

Он взял ее за руку, и они гуськом двинулись через одурелый поток транспорта к закусочной через дорогу. Мужчина торговал часами с расстеленного на тротуаре банного полотенца. В длинном зале было густо от тел и шума, Эрик протолкался сквозь очередь навynos и нашел места у стойки.

— Не уверена, насколько я проголодалась.

— Ешь. Поймешь, — сказал он. — Кстати, о сексе.

— Мы женаты всего пару-другую недель. И то едва ли.

— Всему на свете едва ли недели. Все теперь меряется днями. На жизнь остаются минуты.

— Мы же не хотим считать время, правда? Или торжественно обсуждать эту тему.

— Нет. Мы хотим этим заняться.

— И займемся. Непременно.

— Мы хотим нам его, — сказал он.

— Секса.

— Да. Потому что на его отсутствие у нас нет времени. Время — такая субстанция, которая с каждым днем все реже. Что. Ты не знала?

Она взглянула на меню, растянувшееся вверх по стене, и оно, похоже, привело ее в уныние своим размахом и настроением. Он вслух процитировал несколько пунктов, которые, по его мнению, ей бы хотелось съесть. Не то чтобы он знал, чем она питается.

Они попали в перекрестный рев акцентов и языков, а раздатчик за стойкой объявлял заказы в громкоговоритель. На улице дудели клаксоны.

— Мне нравится этот книжный. Знаешь, почему? — сказала она. — Потому что он полуподземный.

— Ты чувствуешь себя спрятанной. Тебе нравится прятаться. От чего?

Мужчины говорили о делах пулеметными дробями, формально размеренным напевом под аккомпанемент лязга тарелок.

— Иногда лишь от шума, — сказала она, подаваясь к нему, бодрым шепотом.

— Ты была из молчаливых задумчивых детей. Не отлипала от теней.

— А ты?

— Не знаю. Я об этом не думаю.

— Подумай о чем-нибудь одном и расскажи мне.

— Ладно. Что-нибудь одно. Когда мне было четыре, — сказал он, — я прикидывал, сколько буду весить на каждой планете Солнечной системы.

— Мило. Ой, мне нравится, — сказала она и поцеловала его в висок, чуть поматерински. — Такая комбинация науки и эго. — И рассмеялась, тягуче, пока он делал заказ раздатчику.

Из экскурсионного автобуса, застрявшего в пробке, просочился усиленный динамиком голос.

— Когда поедем на озеро?

— Нахуй озеро.

— Я считала, нам там нравится. Столько планов было, столько строили. Сбежать туда, побыть вместе наедине. На озере спокойно.

— И в городе спокойно.

— Где мы живем — да, наверное. Высоко, далеко. А у тебя в машине? Наверняка же не так спокойно. Ты много времени в ней проводишь.

— У меня машина отпрустована.

— Да?

— Растяжку машинам делают так. Берут корпус и разрезают напополам такой огромной режущей циркулярной пилой. Потом добавляют секцию, чтобы удлинить ходовую часть на десять, одиннадцать, двенадцать футов. На сколько потребуется. На двадцать два фута, если хочешь. И пока так с моей делали, я сказал им, что машину надо отпрустовать, заизолировать пробковым слоем от уличного шума.

— Вообще-то здорово. Мне очень нравится.

Они разговаривали, их прижало вместе на жердочке. Он сказал себе, что это его жена.

— Машина, конечно, бронирована. От этого изоляцию укладывать было сложнее. Но им все удалось. Это жест. Мужской поступок.

— И как, изолирует?

— Как оно может изолировать? Нет. Город ест шум и спит шумом. Из каждого века извлекает шум. Шумы те же, что и в семнадцатом веке, плюс те, что появились с тех пор. Нет. Но я не против шума. Шум меня заряжает. Самое главное — что она там есть.

— Пробка.

— Ну да. Пробка. Вот что, в конечном итоге, главное.

Торваля не видать. Эрик заметил мужчину-телохранителя у кассы — вроде как меню читает. Хотелось бы понимать, отчего кассовые аппараты не заключили в витрины музея кассовых аппаратов в Филадельфии или Цюрихе.

Элиза глянула в свою чашку супа, где кишели формы жизни.

— Я этого хотела?

— Скажи мне, чего ты хотела.

— Утиное консоме с травами.

Она произнесла это с насмешкой над собой — с каким-то экстерриториальным акцентом, лишь чуточку усиленным по сравнению с тем, как она говорила обычно. Он присмотрелся к ней, рассчитывая восхититься выгнутыми ноздрями и этим тонким изгибом в линии носа. Но поймал себя на мысли, что она, быть может, и вообще не красива. Может, ей не хватает. То был укол осознания. Может, она средненькая, отчаянно неисклнучительная. В книжном она выглядела получше, когда он обознался. Он начал понимать, что ее красоту они изобрели вместе, сговорились собрать воедино вымысел, который помогал их обоюдной маневренности и восхищению. Они женились под покровом этого невысказанного соглашения. Им требовался завершающий член прогрессии. Она богата, он богат; она бесспорная наследница, он сделал себя сам; она культурна, он беспощаден; она хрупка, он крепок; она одарена, он блистателен; она красива. Таково ядро их понимания, то, во что им нужно было верить, прежде чем стать парой.

Она держала ложку над чашкой супа, без движения, пока формулировала мысль.

— Знаешь, это правда. От тебя действительно несет сексуальным выделением, — сказала она, подчеркнуто глядя в суп.

— От меня пахнет не сексом, который, по-твоему, случился. А сексом, которого я хочу. Вот его запах ты иловишь. Потому что чем больше я на тебя смотрю, тем больше я знаю про нас обоих.

— Скажи мне, что это значит. Или нет. Нет, не надо.

— И тем больше я хочу секса с тобой. Бывает такой секс, в котором есть что-то очищающее. Это антидот разочарования. Противоядие.

— Хочешь распалиться, да? Вот твоя стихия.

Он хотел укунить ее за нижнюю губу, прихватить ее зубами и впиться так крепко, чтобы извлечь эротичную капельку крови.

— Куда пойдешь, — спросил он, — после книжного? Потому что здесь есть отель.

— Я шла в книжный. Точка. Я была в книжном. Я там была счастлива. А ты куда ехал?

— Подстричься.

Она приложила руку к его лицу и стала мрачной и сложной.

— Тебе нужно стричься?

— Мне нужно все, что ты можешь мне дать.

— Будь любезен.

— Мне нужны все значения слова «распаленный». Отель тут сразу через дорогу. Можем начать заново. Или покончить с интенсивностью чувств. Вот одно из значений. Возбуждать до страсти. Можем покончить с тем, что едва начали. На самом деле — два отеля. У нас есть выбор.

— По-моему, мне не хочется продолжать.

— Не хочется. И не станешь.

— Будь со мной любезен, — сказала она.

Он взмахнул сэндвичем с рубленой печенью, затем громко откусил — жевал и говорил одновременно, а также угощался ее супом.

— Когда-нибудь подрастешь, — сказал он, — и тогда твоей маме станет не с кем поговорить.

За ними что-то происходило. Ближайший раздатчик произнес реплику по-испански, в которой прозвучало слово «крыса». Эрик развернулся на табурете и увидел двух мужчин в сером спандексе — они стояли в узком проходе между стойкой и столиками. Неподвижно стояли, спина к спине, правые руки подняты — и оба держали за хвост по крысе. Начали что-то кричать, Эрик не разобрал. Крысы были живые, сучили передними лапками, и его это заворожило, всякое ощущение Элизы пропало. Он хотел понять, что это мужчины говорят и делают. Молодые, в серых костюмах — крысиных костюмах, как он понял, — и перегораживали выход из заведения. Эрик смотрел в длинное зеркало на дальней стене и видел почти весь зал — либо в отражении, либо прямо, а за ним раздатчики в бейсболках разместились в состоянии задумчивой паузы.

Двое мужчин разделились, сделали по нескольку широких шагов в разные стороны и принялись размахивать крысами над головами, перебивая друг друга, кричали что-то *опризраке*. Над машинкой зависло лицо человека, резавшего пастроми, взгляд нерешительный, и посетители не поняли, как реагировать. А потом — поняли, чуть ли не в панике, стали уворачиваться от траектории вращаемых крыс. Пара человек ввалилась в двери кухни, исчезли, следом — общее движение, опрокинутые стулья, тела свинчиваются с табуретов.

Эрика захватило. Он едва не онемел. Какое восхищение — вот это, чем бы оно ни было. Телохранитель не отходил у стойки — говорил что-то в лацкан. Эрик протянул руку, показывая, что нет нужды предпринимать какие-либо действия. Пусть предъявится. Люди грозили и ругались, заглушали голоса двоих парней. Эрик заметил, что ближний к нему занервничал, у него забегали глаза. Угрозы звучали древне и шаблонно, одна фраза тянула за собой другую, и даже замечания на английском раздавались эпически — смертоносно и растяжимо. Эрику захотелось поговорить с парнем, спросить, по какому это случаю — какова миссия, что за цель.

Раздатчики уже вооружились ножевыми изделиями.

Затем парни выпустили крыс, и заведение снова стихло. Твари, хлеща хвостами, полетели по воздуху, ударяясь в разные поверхности и отскакивая от них, скользя по столикам на спинах, по инерции — два зловещих комка шерсти побежали по стенам, мяуча и визжа, и парни побежали тоже, выволакивая крик свой с собой на улицу, этот их лозунг, это предупреждение или заклинание.

На другой стороне Шестой авеню машина медленно продвинулась мимо маклерской фирмы на углу. На уровне улицы обнажены конторские закутки, мужчины и женщины присматривают за экранами, и Эрик ощущал надежность их обстоятельств, скорость, затейливость, их закрученное эмбриональное вращение, тайное и тварное. Он подумал о тех, кто посещал его вебсайт еще в те дни, когда он предсказывал динамику ценных бумаг, когда предсказания были чистой властью, когда он восхвалял какой-то технологический пакет или

благословлял целую отрасль и механически вызывал удвоение курса акций и смещение мировоззрений, когда он эффективно творил историю — еще до того, как история стала монотонна и мутна, сдавшись на милость его поиска чего-то чище, таких методов графопостроения, что предсказывали бы движение самих денег. Он торговал валютами любых территориальных образований, современных демократических держав и пыльных султанатов, параноидальных народных республик, адовых повстанческих государств, которыми правили обдолбанные пацаны.

Тут он находил красоту и точность, скрытые ритмы флуктуаций каждой данной валюты.

Из закуской он вышел с половинкой сэндвича в руке. И теперь ел и слушал экстатический рэп в динамиках звуковой системы — голос Братухи Феска, которому аккомпанировала лишь бедуинская скрипочка. Но Эрика отвлекло изображение на одном бортовом экране. Президент в своем лимузине, видимый выше пояса. Отличительная черта администрации Глуша — глава исполнительной власти в живом видеопотоке, доступен всему миру. Эрик к нему присмотрелся. Изучал десять недвижных минут. Он не шевелился — не шевелился и президент, разве что рефлекторно; не шевелился и поток машин, ни в одну сторону. Президент был без пиджака — сидел в тривиальном ступоре. Разок дернулся, несколько раз моргнул. Взгляд его был пуст — ни направления, ни содержания. Вокруг него витала тоска, от которой неизменно дохнут мухи. Он не чесался, не зевал — как гость телепрограммы, который сидит в холле студии и ждет, когда позовут выйти к камерам. Только жутче и глубже, поскольку в глазах его не читалось никакой неотъемлемости, жизненно важной занятости, а сам он, казалось, существовал в некой ложбинке не-времени и был президентом. Эрик за это его возненавидел. Несколько раз они беседовали. Эрик ждал в желтой приемной западного крыла. Консультировал президента по кое-каким важным вопросам, и ему приходилось вставать, когда кто-то попросил его встать, а кто-то еще делал снимки. Он ненавидел Глуша за то, что он вездесущ, — таким и он сам раньше был. Ненавидел за то, что он стал объектом достоверной угрозы своей безопасности. Ненавидел и высмеивал его гинекоидный торс с гирляндой тряских молочных желез под просвечивающей белой рубашкой. Мстительно Эрик посмотрел на экран: изображение делало честь президенту. Он был зомби. Существовал в состоянии оккультного покоя, дожидаясь, когда оживят.

— Мы желаем думать об искусстве зарабатывания денег, — сказала она.

Она расположилась на заднем сиденье — на его месте, в клубном кресле, — а он смотрел на нее и ждал.

— У греков есть специальное слово.

Он ждал.

— *Chrimatistikors*, — сказала она. — Только нам это слово нужно чуточку растеревить. Приспособить к текущей ситуации. Поскольку деньги приняли другой оборот. Все богатство стало богатством ради самого себя. Другого вида огромного богатства нет. Деньги утратили свое повествовательное качество — как некогда его утратила живопись. Деньги говорят сами с собой.

Обычно она ходила в берете, но сегодня была с непокрытой головой — Виджа Кински, маленькая женщина в застегнутой на все пуговицы деловой блузке, старом вышитом жилете и длинной плиссированной юбке, которую стирали тысячу раз, его главный теоретик, опоздавшая на еженедельную встречу.

— И собственность, разумеется, идет по пятам. Понятие о собственности меняется что ни день, что ни час. Огромные траты людей на землю и дома, на яхты и самолеты. Ничего общего с традиционной самоуверенностью, ладно. Собственность больше не имеет отношения к власти, личности и властности. Она не про вульгарное хвастовство — и не про хвастовство со вкусом. Тут важно одно — сколько ты заплатил. Сам заплатил, Эрик, вдумайся. Что ты купил на свои сто четыре миллиона долларов? Не десятки комнат с ни с

чем не сравнимым видом из окон и персональными лифтами. Не вращающуюся спальню и компьютеризованную постель. Не плавательный бассейн или акулу. Право на воздушное пространство? Регулирующие сенсоры и программное обеспечение? Не зеркала, которые рассказывают тебе, как ты себя чувствуешь, когда смотришь на себя по утрам. Ты платишь деньги за саму цифру. Сто четыре миллиона долларов. Вот что ты купил. И оно того стоит. Цифра сама себя оправдывает.

Машина застряла в неподвижном движении между авеню, где Кински села, вынырнув из церкви Святой Девы Марии. Занимательно, хотя, может, и нет. Он смотрел на нее с откидного сиденья: интересно, почему он не знает, сколько ей лет? Волосы у нее дымно-серые, увядшие и опаленные, будто в нее молния ударила, а на лице никаких отметин — только крупная родинка высоко на скуле.

— О, и эта машина, которую я очень люблю. Экраны мерцают. Обожаю экраны. Сияние киберкапитала. Такое лучистое и соблазнительное. Я в этом ничего не понимаю.

Она говорила едва ли не шепотом, а улыбка не сходила с ее лица, степень загадочности же при этом менялась.

— Но тебе же известно, насколько я бесстыжа в присутствии всего, что зовет себя идеей. Идея — это время. Жизнь в будущем. Посмотри, как бегут эти цифры. Деньги делают время. Раньше было наоборот. Часовое время ускоряло развитие капитализма. Люди перестали думать о вечности. Начали сосредоточиваться на часах, измеримых часах, человеко-часах, чтобы целесообразнее использовать рабочую силу.

Он сказал:

— Я хочу тебе кое-что показать.

— Погоди. Я думаю.

Он подождал. Улыбку ей чуть перекосило.

— Будущее создается киберкапиталом. Что за единица измерения называется наносекундой?

— Десять в минус девятой степени.

— Это сколько.

— Одна миллиардная секунды, — сказал он.

— Я в этом ничего не понимаю. Но это мне сообщает, насколько неумолимы должны мы быть, чтобы адекватно измерять окружающий мир.

— Есть и зептосекунды.

— Хорошо. Я рада.

— Йоктосекунды. Одна септиллионная доля секунды.

— Потому что время теперь — корпоративный актив. Оно принадлежит системе свободного рынка. Настоящее найти все труднее. Его высасывает из мира, чтобы освободилось место для будущего неконтролируемых рынков и гигантского инвестиционного потенциала. Будущее становится настоящим. Именно поэтому что-то вскоре случится — может, и сегодня, — сказала она, лукаво поглядев себе в ладони. — Чтобы скорректировать ускорение времени. Вернуть природу более-менее к норме.

На южной стороне улицы почти не было пешеходов. Эрик вывел ее из машины на тротуар, откуда им открылась часть электронного дисплея рыночной информации — движущиеся блоки сообщений, бежавшие по фасаду конторской башни на другой стороне Бродвея. Кински застыла на месте. Такая разница с расслабленными новостями, что оборачивали собой старую башню «Таймс» в нескольких кварталах к югу. Здесь же одновременно и быстро футах в ста над улицей двигались три слоя данных. Финансовые новости, курсы, акций, валютные рынки. Неослабевающая активность. Одержимая скачка цифр и символов, простых дробей, десятичных, стилизованных знаков доллара, бьющий поток слов, многонациональных новостей — все слишком быстро, не успеваешь впитать. Но Эрик знал, что Кински впитывала.

Он стоял у нее за спиной, показывая рукой поверх ее плеча. Под лентами данных — тикерами — были неподвижные цифры: время в крупнейших городах мира. Эрик знал, о чем

она думает. Плевать на скорость, от которой так трудно следить за тем, что проходит перед глазами. Смысл в скорости. Плевать на бесконечное и настоящее обновление, на то, как данные растворяются на одном конце последовательности, в то же время обретая форму на другом. В этом и есть смысл, напор, будущее. Мы не поток информации лицезрим, а чистое зрелище: информация освящается, она ритуально нечитаема. Маленькие мониторы в конторе, дома и в машине тут становятся объектом идолопоклонства, здесь могут собираться изумленные толпы.

Она сказала:

— А оно когда-нибудь останавливается? Замедляется? Конечно, нет. С чего бы? Фантастика.

Он заметил, как в новостийном тикере промелькнула знакомая фамилия. Каганович. Но контекст он не уловил. Машины тронулись, и они вернулись в лимузин, а два телохранителя обеспечивали незаметное прикрытие. Теперь он сел на банкетку лицом к видеомониторам — и выяснилось, что контекстом была смерть Николая Кагановича, умопомрачительного богача с сомнительной репутацией, владельца крупнейшего медийного конгломерата России, чьи интересы варьировались от секс-журналов до спутниковой связи.

Кагановича он уважал. Хитер мужик и крут, в лучшем смысле слова — жесток. Они с Николаем дружили, сообщил он Кински. Взял из кулера водки с корольковым соком и налил два приземистых стакана, без льда, и на нескольких экранах они посмотрели репортажи о событии.

Потягивая из стакана, она чуть зарделась.

Человек лежал ничком в грязи перед своей подмосковной дачей — его расстреляли после того, как он вернулся из «Албании-Онлайн», где учреждал кабельную телевизионную сеть и подписывал соглашение по организации тематического парка в Тиране, столице.

Эрик ходил с Николаем на дикого кабана в Сибири. Он рассказал об этом Кински. Вдалеке они заметили тигра — мимолетно, ожогом чистой трансцендентности, это не вмещалось ни в какой предыдущий опыт. Эрик описал ей тот миг — драгоценное ощущение прежней жизни, вымирающий биологический вид, огромность тишины вокруг. Они не шевелились, эти два человека, еще долго после того, как зверь исчез. Тигр, пылающий в высоком снегу, — они ощутили, что связаны невысказанным кодом, братством красоты и утраты.

Но Эрик был рад видеть его мертвым и в грязи. Журналист все время повторял слово «дача». Он стоял под углом к камере, чтобы сквозь аллею сосен открывался вид на виллу, на дачу. На другом экране комментатор туманно намекала на нечистоплотных деловых партнеров, антиглобалистски настроенные элементы и локальные войны. После чего заговорила о даче. Обнаружен мертвым, лежал ничком перед собственной дачей. В этом слове они искали безопасность, самоуверенность. Больше ничего они не знали ни о человеке, ни о преступлении — только нечто русское: мертвый, перед дачей, в Подмоскowie.

Эрику стало хорошо — вот он его там видит, в туловище и голове бесчисленные пулевые раны. Такое спокойное довольство, ослаблено некое напряжение в плечах и груди. Она его отпустила, смерть Николая Кагановича. Этого Кински он говорить не стал. Потом сказал. Чего скрывать? Она у него главный теоретик. Пусть теоретизирует.

— Твой гений и твой анимус всегда были полностью связаны, — сказала она. — Твой разум цветет на недоброжелательстве к другим. Да и тело, мне кажется. Дурная кровь способствует долгой жизни. Он же в каком-то смысле был соперник, да? И, вероятно, физически крепок. Масштабная личность. Непристойно богат этот парнишка. Женщины в супе плавают. Достаточно резонов ощущать эдакую ползучую эйфорию от того, что человек очень плохо кончает. Резоны есть всегда, всегда. Не стоит изучать вопрос, — сказала она. — Он умер, чтобы жил ты.

Машина доехала до угла и остановилась. По всему театральному району толклись туристы — всеми словами, обозначающими множество. Они перемещались завихрениями и

наплывами, забредали в мегамаркеты и кругами обтекали лотки торговцев. Стояли в извилистой очереди, сложившейся гармошкой, за уцененными билетами на бродвейские спектакли. Эрик смотрел, как они переходят улицу — чахлые людишки под сенью богов нижнего белья, украшающих рекламные щиты, вознесшиеся ввысь. То фигуры за пределами биологического пола и деторождения, зачарованные женщины в мужских шортах, даже за рамками коммерции, мужчины, бессмертные по своему мышечному тону, по выдающейся грозди на линии промежности.

В центр, подсакивая, ехали тяжелые грузовики — они направлялись к «швейному кварталу»¹⁵или погрузочным эстакадам мясокомбинатов, и никто их не видел. Видели кокни, торговавшего детскими книжками из картонной коробки, — он рекламировал их стоя на коленях. Эрик считал, что это одно и то же — они и он, а также старый китаец, занимающийся акупунктурным массажем, и ремонтная бригада, что прокладывала оптоволоконный кабель, заталкивая его в люк с огромной желтой катушки. Он думал о накоплениях, о материальной скученности, о днях и ночах, проведенных бампер к бамперу, красный свет, зеленый свет, о закреплённости вещей, об устаревании, которое происходит преимущественно незамеченным. Они видели, как старик делает свой лечебный массаж — трудится над спиной и висками женщины, которая сидит на скамеечке, лицом в подушку, приподнятую на самодельной раме. Читали написанную от руки вывеску: облегчение от утомления и паники. Как все держится, эти привычки тяготения и времени, в новой текучей реальности. Кокни сказал, не подымаясь с колен: «Я же не спрашиваю, где вы берете свои деньги, так не спрашивайте у меня, где я беру эти книжки». Они остановились и посмотрели, заглянули в коробку. Старый китаец выпрямился, разминая акупунктурные точки женщины, большими пальцами продавливая борозды у нее за ушами.

Эрик видел, как люди останавливаются у будки обмена иностранной валюты на юго-восточном углу. От этого ему захотелось открыть люк в потолке и высунуть голову наружу — так он без помех видел, как на здании впереди скачут курсы валют. Иена лезла вверх — по-прежнему росла против доллара.

Он сел на откидное сиденье лицом к Кински, изложил ей, какова ситуация — в общих чертах: он-де занимает иену под крайне низкий процент, а деньги эти пускает на крупные спекуляции акциями, которые потенциально принесут высокие прибыли.

— Прошу тебя. Для меня это пустой звук.

Но чем больше крепчала иена, тем больше денег ему требовалось, чтобы вернуть заем.

— Хватит. Я потеряла нить.

Он не прекращал, ибо знал, что выше иена подняться не может. Объяснил, что есть такие уровни, до которых ей не дойти. Рынок это знает. Бывают колебания и встряски, которые рынок до некоторой степени терпит, а за этой чертой — уже нет. Самой иене известно, что выше ей не взобраться. Но она взбирается, опять и опять.

Она держала стакан с водкой в ладонях, катала его, раздумывая. Он ждал. На ней были крохотные мокасины с кисточками и низкие белые носки.

— Мудрый курс был бы — отступить, подержаться на расстоянии. Тебе так и советуют, — сказала она.

— Да.

— Но тебе кое-что известно. Ты знаешь, что иена выше не полезет. А если ты что-то знаешь и не действуешь согласно этому знанию, то в самом начале этого не знал. Вот тебе китайская мудрость, — сказала она. — Знать и не действовать — это не знать.

Он обожал Виджу Кински.

— Откатиться сейчас назад будет неподлинно. Это будет цитата из чужой жизни. Парафраз разумного текста, который желает, чтобы ты верил в существование

¹⁵ «Швейный квартал» — район Нью-Йорка в центре Манхэттена между 26-й и 42-й улицами вдоль Седьмой авеню, известный как центр пошива модной женской одежды.

правдоподобных реальностей, ладно, которые можно отследить и проанализировать.

— Когда на самом деле что.

— Желает, чтобы ты верил, будто существуют предсказуемые тенденции и силы. Когда на самом деле все это случайные явления. Ты применяешь математику и другие дисциплины, да. Но в конце остаешься один на один с системой, тебе не подконтрольной. С истерией на высоких скоростях, изо дня в день, от минуты к минуте. Людям в свободных обществах не нужно бояться патологии государства. Мы создаем свое неистовство, собственные массовые конвульсии, нас подстегивают думающие машины, над которыми у нас нет окончательной власти. По большей части неистовство это не очень заметно. Мы просто так живем.

Завершила она смешком. Да, его восхищал ее дар к связной речи, оформленной и убедительной, когда в концовку тебя тычут носом. Этого от нее Эрику и требовалось. Организованных мыслей, вызывающих замечаний. Но в смешке ее прозвучало что-то непристойное. Он был презрителен и груб.

— Ты, конечно, это знаешь, — сказала она.

Он знал и не знал. Не до такой степени нигилизма. Не до точки, в которой все суждения бесосновательны.

— На каком-то глубинном уровне существует порядок, — сказал он. — Паттерн, который хочет, чтобы его распознали.

— Так распознай.

Издали он услышал голоса.

— Я всегда это делал. Но в данный момент он неуловим. Мои эксперты сражались, сражались и уже едва не сложили оружие. Я над ним работал, оставлял на утро, не спал ночей. Есть общая поверхность, сродство между движением рынка и миром природы.

— Эстетика взаимодействия.

— Да. Однако в данном случае я начинаю сомневаться, смогу ли вообще когда-либо ее отыскать.

— Сомневаться? Что такое сомнение? Ты не веришь в сомнение. Сам это мне говорил. Компьютерная мощь отменяет сомнения. Все сомнения произрастают из прежнего опыта. Но прошлое исчезает. Раньше нам было ведомо прошлое, но не будущее. Теперь это меняется, — сказала она. — Нам нужна новая теория времени.

Машина двинулась вперед, миновав один поток на юг, но остановилась у следующего, подвешенного в том сжатом пространстве, где начинают пересекаться Седьмая авеню и Бродвей. Теперь Эрик слышал голоса отчетливее — они разносились над пробкой — и видел бегущих людей — авангард толпы, мчащейся к нему; другие, испуганные и смятенные, переливались с тротуаров, а пенопластовая крыса двадцати футов ростом уворачивалась от такси на проезжей части.

Эрик высунул голову в люк, наблюдал. Что происходит? Трудно сказать.

Теперь были забиты обе авеню, машины в заторе, повсюду люди. Пешеходы прятались в боковые улочки, расчищая дорогу переднему краю бегунов. Не линии — деформации в толпе. Там бегуны и другие, те, кто пытался бежать, нащупывали участки для свободного перемещения, руками разгребали узлы тел.

Ему хотелось понять, отделить одно от другого посредством тщательного наблюдения. Гудели сигналы и сирены. Над всеохватным всплеском толпы орала толща голосов. От этого видеть было труднее.

Он смотрел на юг, в сердцевину Таймс-сквер. Раздался лязг бьющейся витрины, стекла рухнули на мостовую. У центра НАСДАК в нескольких кварталах возникла локализованная суматоха. Менялись очертания и цвета, медленный наклон тел. Они роились у входа, и Эрик вообразил пандемониум внутри — люди мчатся по галереям, облицованным информацией. Того и гляди ворвутся в аппаратные, кинутся на видеостену и тикерную ленту с логотипами.

Непосредственно перед ним — что? Люди на островке безопасности покупают театральные билеты со скидкой. По-прежнему стоят в очереди, в большинстве своем, не желают терять место, единственный образ в широкой панораме, который не груб и не

ворочается.

Голоса неслись из мегафонов — интонация заклинания, тот же тоновый контур, что Эрик распознал в криках молодых людей за обедом. Пенопластовая крыса теперь оказалась на тротуаре — ее несли на плечах в лотке четверо-пятеро людей в крысином спандексе, направлялись сюда.

Эрик увидел Торваля с двумя телохранителями на улице, все трое с разной скоростью озирались, сканируя прилегающий участок, внушительно. Женщина в профиль походила на египтянку, Среднее царство, она склоняла голову к левой груди — говорила в носимый телефон. Слову «телефон» пора в отставку.

Билетную кассу с обеих сторон начали обтекать первые бегуны — большинство в лыжных масках, некоторые приостанавливались, увидев автомобиль. Лимузин заставил их призадуматься. Сюда неслись полицейские машины, шли юзом у краев поперечных улиц. Эрик почувствовал себя в центре событий. Из автобуса высадились фигуры в спецназовском снаряжении, в масках с рылом.

Водитель стоял у своего такси, курил, руки сложены на груди — откуда-то из Южной Азии, терпеливо ждет в мировом городе, чтобы хоть в чем-нибудь забрезжил смысл.

К машине приближались. Кто они? Протестующие, анархисты, кем бы ни были, нечто вроде уличного театра или приверженцы чистого бесчинства. Машину, разумеется, окружили, облекли параличом — с трех сторон другие автомобили, с четвертой билетная будка. Эрик увидел, как Торваль заступил дорогу человеку с кирпичом. Вырубил его намертво перекрестным справа. Эрик решил этим восхититься.

Затем Торваль глянул на него. Мимо пролетел пацан на скейтборде, отскочив от лобового стекла патрульной машины. Ясно было, чего хочет от Эрика начальник службы безопасности. Два человека затянувшийся миг недобро смотрели друг на друга. Потом Эрик опустил в салон автомобиля и закрыл люк.

По телевизору смысла было больше. Он разлил две водки, и они стали смотреть, веря тому, что видят. То действительно была демонстрация, они били витрины сетевых магазинов и выпускали батальоны крыс в ресторанах и вестибюлях отелей.

Сверху на машинах по всему району ездили фигуры в масках, швыряли дымовые шашки в полицейских.

Теперь Эрик слышал заклинание отчетливей — оно шло по каналам параболических антенн телефургонов, извлекалось из перекатов сирен и автомобильных сигнализаций.

Призрак бродит по миру, ¹⁶— кричали они.

Это ему очень нравилось. Подростки на скейтбордах малевали спреями граффити на рекламных щитах по бортам автобусов. Пенопластовую крысу перевернули, полиция уже наступала, прикрывшись щитами, — люди в шлемах двигались с такой тоталитарной мрачностью, что Кински, похоже, вздохнула.

Демонстранты раскачивали машину. Эрик посмотрел на Виджу и улыбнулся. По телевизору показывали крупным планом лица, обожженные перечным газом. Трансфокатор поймал человека с парашютом, который бросался с вершины башни поблизости. И парашют, и человек были исполосованы анархистским черно-красным, а пенис парашютиста обнажен и маркирован сходным образом. Машину болтало взад-вперед. Из гранатометов пускали снаряды со слезоточивым газом, полицейские на свой страх и риск врубались в толпу — в масках с двойными фильтровальными камерами из какого-то смертельного мультлика.

— Тебе известно, что производит капитализм. По Марксу и Энгельсу.

— Собственных могильщиков.

— Но это не могильщики. Это сам свободный рынок. Эти люди — фантазия,

¹⁶ Парафраз первой строки «Манифеста коммунистической партии» (1848) Карла Макса и Фридриха Энгельса, пер. В. А. Поссе (1903) под ред. Д. Рязанова (1922).

сгенерированная рынком. Вне рынка их не существует. Им некуда пойти, чтобы оказаться снаружи. Никакого снаружи нет.

Камера вела полицейского, который гнался сквозь толпу за молодым человеком, — это изображение, казалось, существовало на какой-то зыбкой дистанции от мгновения.

— Рыночная культура тотальна. Она порождает этих мужчин и женщин. Они необходимы системе, которую презирают. Они сообщают ей энергию и определенность. Они сами приводятся в действие рынком. Их обменивают на мировых рынках. Поэтому они и существуют — чтобы укреплять и поддерживать систему в действии.

Эрик смотрел, как у нее в стакане плещется водка — машину колыхало туда и сюда. Снаружи люди стучали в стекла, колотили по капоту. Эрик видел, как Торваль и телохранители смахивают их с ходовой части. Кратко подумал о переборке за шофером. На ней висела кедровая рамка, в нее вправлен декоративный обрывок куфического манускрипта, конец десятого века, Багдад, бесценный.

Она затянула ремень безопасности.

— Тебе следует понять.

Он спросил:

— Что?

— Чем утопичнее идея, тем больше людей остается позади. Вот к чему сводится весь протест. Мечты о технологии и богатстве. О силе киберкапитала, который управляет людьми в канаву блевать и подыхать. В чем недостаток человеческой рациональности?

Он спросил:

— В чем?

— Она делает вид, будто видит ужас и смерть в результате афер, которые сама конструирует. Это протест против будущего. Они хотят это будущее отложить. Хотят нормализовать его, не дать ему овладеть настоящим.

На улице горели машины, металл шипел и плевался, а ошеломленные фигуры перемещались как в замедленной съемке, в прибое дыма, бродили сквозь массу транспортных средств и тел, другие бежали, вот упал полицейский, преклонив колена перед заведением быстрого питания.

— Будущее — всегда цельность, одинаковость. Мы все тут важны и счастливы, — сказала она. — Именно поэтому будущее обречено на поражение. Оно всегда обречено. Ему никогда не стать тем жестоким счастливым местом, которое мы из него хотим сделать.

В заднее окно кто-то швырнул мусорный бак. Кински дернулась, но едва. Сразу к западу, на другой стороне Бродвея демонстранты городили баррикады из горящих покрышек. Казалось, во всем этом есть некая схема, пункт назначения. Спецназ палил резиновыми пулями в дым, а тот уже клубился над рекламными щитами. Другие полицейские держались в нескольких шагах, помогали команде безопасности Эрика защищать машину. Эрик не знал, как ему к этому относиться.

— Как мы узнаем, когда официально закончится глобальная эпоха?

Он ждал.

— Когда с улиц Манхэттена начнут исчезать вытянутые лимузины.

Мужчины мочились на автомобиль. Женщины швыряли пластиковые бутылки с песком.

— Это, я бы сказала, контролируемый гнев. Но что произойдет, если они узнают, что в машине — глава «Капитала Пэкера»?

Она произнесла это мерзко, глаза вспыхнули. У демонстрантов глаза горели под черно-красными банданами, которыми они заматывали себе лица и все головы. Завидует ли он им? В пуленепробиваемые окна виднелись раны на черепах, и может, подумал Эрик, ему стоит быть там — увечить и крушить?

— Они работают с тобой, эти люди. Они действуют на твоих условиях, — сказала она. — И если они тебя убьют, то лишь потому, что ты сам им это позволил, в собственном сладостном терпении, как способ еще раз подчеркнуть ту идею, под которой мы все

существуем.

— Какую идею?

Качка усилилась, и Эрик смотрел, как Виджа теперь водит стаканом из стороны в сторону, прежде чем пригубить.

— Разрушение.

На одном экране он увидел фигуры, спускающиеся с вертикальной поверхности. Не сразу понял, что они скинули тросы с фасада здания впереди, где располагались рыночные тикеры.

— Ты знаешь, во что всегда верили анархисты.

— Да.

— Скажи.

— Что призыв к разрушению — творческий призыв.

— А кроме того — признак капиталистической мысли. Навязанное разрушение. Старые промышленности следует жестко искоренять. Новые рынки следует насильственно завоевывать. Старые рынки — реэксплуатировать. Уничтожай прошлое, твори будущее.

Она улыбалась затаенно, как всегда, и в уголке рта у нее подрагивала мелкая мышца. У нее не имелось привычки обнаруживать симпатию или неприязнь. Да и не могла она ни того, ни другого, подумал он, хотя интересно, не ошибался ли он насчет этого.

Теперь они разрисовывали машину, исполняя адажио на своих скейтбордах. Через дорогу люди болтались на страховочных тросах, пытались пинками выбивать окна. Башня носила имя крупного инвестиционного банка — буквы скромного размера под раскорячившейся картой мира, а в гаснущем свете танцевали котировки ценных бумаг.

Произвели много арестов, люди из сорока стран, головы в крови, в руках лыжные маски. Свои маски они уступать не хотели. Эрик видел, как одна женщина стянула с себя маску — стащила с головы, ругаясь, полицейский тыкал ее под ребра дубинкой, а она размахнулась маской и шлепнула ему слева по щитку шлема, и они вышли из кадра, а все экраны кинулись на вздымаемый автомобиль.

Эрик поймал взглядом собственное изображение — живьем на овальном экране ниже скрытой камеры. Прошло несколько секунд. Он увидел, как отпрядывает в шоке. Прошло еще какое-то время. Он словно повисел, ждал. Затем что-то сдетонировало, громко и глубоко, так близко, что поглотило всю информацию вокруг. Он в шоке отпрянул. Как и прочие. Фраза входила в жест, в знакомое выражение, воплощенная движением головы и членов. Он отпрянул в шоке. Фраза эхом отдалась по всему телу.

Машину перестали раскачивать. Воцарилось всеобщее созерцание. Теперь снаружи все связались воедино вторым уровнем взаимных обязательств.

Бомбу взорвали прямо у инвестиционного банка. На другом экране Эрик увидел тени съемки — с цифровой скоростью по коридору бежали фигуры, бежали, заикаясь, данные считывались в десятые доли секунды. То была съемка камер видеонаблюдения в башне. Демонстранты штурмовали здание, врвались в смятый вход и захватывали лифты и вестибюли.

Снаружи возобновилась борьба — полиция направляла на горящие баррикады пожарные рукава, а демонстранты опять затаили свою литанию, живьем, восстановив собственное бесстрашие и нравственную силу.

Но с его машиной наконец-то вроде бы покончили.

Немного они посидели спокойно.

Он спросил:

— Ты видела?

— Да, видела. Что это было?

Он ответил:

— Я сижу. Мы разговариваем. Я смотрю на экран. Тут вдруг.

— Ты в шоке отпрядываешь.

- Да.
- Потом взрыв.
- Да.
- А такое бывало, интересно, раньше?
- Да. Я распорядился проверить нашу компьютерную безопасность.
- Все в порядке.
- Все. Да и вообще никто не способен создать такой эффект. Предугадывать такое.
- Ты в шоке отпрянул.
- На экране.
- Следом взрыв. И потом.
- Отпрянул по-настоящему, — сказал он.
- Что же это может значить?

Она потеряла родинку. Пощипывала ее на скуле, покручивая, сама размышляла. Он сидел и ждал.

— Вот такая штука с гениями, — сказала она. — Гений меняет условия своего ареала.

Ему понравилось, но хотелось большего.

— Думай об этом так. Бывают редкие умы, они работают — их немного, тут и там, эрудит, истинный футурист. Такое сознание, как у тебя, гиперманиакальное, может обладать такими пятнами контакта, которые широкой массой не воспринимаются.

Он ждал.

— Технология жизненно важна для цивилизации почему? Потому что она помогает нам осуществлять нашу судьбу. Нам не нужны Бог, чудеса или полет шмеля. Но она, к тому же, подобралась на низком старте и поди ее пойми. Может кинуться в любую сторону.

На фасаде осажденной башни погасли тикерные ленты.

— Ты говоришь о том, что будущее нетерпеливо. Навязывается нам.

— Такова была теория. Я занимаюсь теорией, — резко ответила она.

Он отвернулся от нее и стал смотреть на экраны. Верхняя лента электронного табло через дорогу теперь показывала такое сообщение:

ПРИЗРАК БРОДИТ ПО МИРУ — ПРИЗРАК КАПИТАЛИЗМА

Эрик признал в нем вариацию на тему знаменитой первой фразы «Манифеста коммунистической партии», в которой призрак коммунизма бродит по Европе, году в 1850-м.

Они запутались, они ошибаются. Однако его уважение к изобретательности демонстрантов стало определеннее. Он отодвинул смотровой люк и высунул голову в дым и газ, густо чадила горящая резина, а он мысленно сравнил себя с астронавтом, который высаживается на планету чистого метеоризма. Бодрит. На капот влезла фигура в мотоциклетном шлеме, поползла по крыше салона. Торваль дотянулся и сколупнул ее. Швырнул человека наземь, в действие вступили телохранители. Чтобы усмирить его, пришлось применить электрошокер, и напряжение отправило демонстранта в другое измерение. Эрик едва обратил внимание на треск разряда и дугу электротока, проскочившую между электродами. Он смотрел на вторую тикерную ленту — она включилась, с севера на юг побежали слова:

КРЫСА СТАЛА ЕДИНИЦЕЙ ОБМЕНА

Он опять не сразу осознал смысл слов и определил, откуда эта строчка. Ее он, разумеется, знал. Из стихотворения, которое недавно читал, из тех, что подлиннее, он выбрал его для более тщательного изучения, — строка, полстроки из хроники осажденного города.

Это возбуждало — голова в испарениях, он видит вокруг борьбу и разор, отравленные газом мужчины и женщины в их неповиновении, размахивают сворованными футболками

НАСДАКа, но они читали те же стихи, что и он.

Он присел ровно для того, чтобы извлечь из слота веб-телефон и отдать распоряжение: больше иен. Он занимал иену в ошеломляющих количествах. Ему хотелось себе все иены, какие только есть.

Затем он опять высунул голову — посмотреть, как слова вновь и вновь скачут по сияющему серому фасаду. Полиция пошла в контрнаступление на башню — их вело за собой спецподразделение. Эрику нравился спецназ. У них шлемы-пули, темные макинтоши, у мужчин — автоматическое оружие: автоматы-скелеты, по сути, одна рама, никакого корпуса.

Происходило что-то еще. Какой-то сдвиг, разлом в пространстве. И вновь Эрик не был уверен, что именно он видит — лишь в тридцати ярдах от него, но не читается, бредово, на тротуаре, скрестив ноги, сидел человек и трепетал в отрезке заплетенного в косы пламени.

Эрик был недалеко — видел, что человек в очках. Человек горел. Люди отворачивались, чуть пригнувшись, или стояли, защищая лица руками, резко отшатывались и полуприседали, падали на колени или шли мимо, не сознавая происходящего, бежали мимо в суматохе и дыму, не замечая, или зачарованно смотрели, их тела обмякали, лица округлялись и тупели.

Когда подул ветер — внезапный порыв, — пламя пригнулось и сплющилось, но человек оставался прям, лицо видно ясно, очки расплавились и затекли в глаза.

Начал шириться стон. Стоял и выл мужчина. Две женщины сидели на бордюре и выли. Руками они обхватили себе головы и лица. Еще одна женщина хотела загасить огонь, но удалось подобраться лишь так, чтобы помахать на человека курткой, стараясь его не задеть. Он слегка покачивался, а голова у него горела независимо от тела. В пламени случился разрыв.

Занялась его рубашка — ее духовно приняло воздухом в форме лоскутьев дымной материи, — и кожа у него потемнела и вспучилась, именно этот запах они теперь и уловили — смесь горелой плоти и бензина.

Рядом с его коленом торчком стояла канистра — она тоже горела, воспламенилась, когда он поджег себя. Вокруг никаких поющих монахов в охряных одеяниях, никаких монахинь в пестро-сером. Похоже, он все сделал сам.

Он молод — или нет. Принял решение из здоровой убежденности. Им хотелось, чтобы он был молод и действовал по убеждениям. Эрик полагал, что даже полиции этого хотелось. Помешанный никому не нужен. Это обесценивает их действия, их риск, всю работу, которую они вместе провели. Он не лицо без определенного места жительства в узком пенале палаты, время от времени страдающее тем и этим, кому что-то советуют голоса в голове.

Эрику хотелось вообразить боль этого человека, его выбор, ту неизмеримую волю, которую ему пришлось призвать. Он пытался представить человека в постели, сегодня утром, вот он искоса смотрит на стену, думает, что ему предстоит сделать вплоть до сего момента. Надо зайти в магазин и купить коробок спичек? Эрик вообразил телефонный звонок кому-то очень далеко, матери или любимой.

Теперь за дело взялись операторы — они бросили спецназ, отбивающий у захватчиков башню через дорогу. Выбежали на угол, широкие мужчины, мясистым спринтом, на плечах подсакивают камеры, и туго обступили горящего человека.

Эрик опустил в машину и сел на откидное сиденье, лицом к Видже Кински.

Но даже с избиениями и газом, со встряской взрывчатки, даже в атаке на инвестиционный банк — он считал, что во всей этой демонстрации что-то театральное, заискивающее даже, в этих парашютах и скейтбордах, в пенопластовой крысе, в тактическом ходе с перепрограммированием биржевых тикеров на поэзию и Карла Маркса. Ему подумалось, что Кински права, когда она говорила, что все это — рыночная фантазия. Между демонстрантами и полицией промелькнула тень транзакции. В протесте выражалась разновидность системной гигиены — очищение и смазка. Протест снова, в десяти тысячный

раз, свидетельствовал об изобретательной блистательности рыночной культуры, о ее способности подгонять свою форму под собственные гибкие цели, впитывая все вокруг.

Поглядим-ка. Человек в пламени. У Эрика за спиной все экраны пульсировали этим. И все действие поставлено на паузу, и демонстранты, и спецназ болтаются без дела, лишь камеры суетятся. Что от этого изменилось? Всё, подумал он. Кински неправа. Рынок не тотален. Он не может присвоить этого человека или ассимилировать его поступок. Только не эту наглядность и не этот ужас. До такого ему не дотянуться.

Репортажи отражались у нее на лице. Она приуныла. Салон сужался кзади, а оттого ее сиденье обрело власть, обычно на этом месте сидел, конечно, он сам, и Эрик знал, как ей нравится устраиваться в кресле, обитом перчаточной кожей, и плыть через весь город днем или ночью, вещая с амвона. Но теперь она была подавлена и на него не смотрела.

— Не оригинально, — в конце концов произнесла она.

— Эй. А что оригинально? Он же это сделал, правда?

— Это присвоение.

— Он облился бензином и чиркнул спичкой.

— Все эти вьетнамские монахи, один за другим — и все в позе лотоса.¹⁷

— Вообрази боль. Посиди и почувствуй.

— Сжигают себя беспрестанно.

— Что-то сказать. Чтобы люди задумались.

— Не оригинально, — сказала она.

— Надо быть буддистом, чтобы к нему отнеслись всерьез? Он совершил серьезный поступок. Отнял у себя жизнь. Разве этого мало, чтобы показать всем, что не шутишь?

С ним хотел поговорить Торваль. Дверь помяли и выгнули, Торваль не сразу ее открыл. Эрик, сгорбившись, двинулся к выходу, минуя Кински, но она даже не взглянула на него.

В толпе медленно перемещались санитары «Скорой помощи», расчищая носилками дорогу. На боковых улицах выли сирены.

Тело уже перестало гореть и по-прежнему сидело прямо, истекая парами и дымкой. Вонь усилилась, ее разносило ветром. А тот окреп, нес бурю, и вдали гремел гром.

У борта автомобиля два человека пребывали в состоянии официального избегания друг друга, глядели мимо. Машина присела контуженная. Ее всю измазали черно-красным. Десятки синяков и пробоев, длинные борозды царапин, обесцвеченные полосы от столкновений. Были места, где пятнами пентименто под росчерками граффити сохранились кляксы мочи.

Торваль сказал:

— Только что.

— Что?

— Сообщение из комплекса. Касательно вашей безопасности.

— Поздновато они, нет?

— Это конкретно и действительно.

— Значит, была угроза.

— Оценка — достоверно, красная. Высочайший порядок безотлагательности. Это значит, что нападение уже происходит.

— Вот мы и узнали.

— И теперь нам нужно действовать сообразно тому, что мы знаем.

— Но мы все равно хотим того, что мы хотим, — сказал Эрик.

Торваль подкорректировал точку зрения. Посмотрел на Эрика. Казалось, это огромный

¹⁷ Имеется в виду один из самых громких случаев публичного самосожжения: буддийский монах из Южного Вьетнама Тхить Куанг Дык (р. 1897) 11 июня 1963 г. совершил этот акт на перекрестке Сайгона в знак протеста против притеснений буддистов католическим режимом президента Нго Динь Зьема. Позднее аналогичный поступок совершили еще несколько монахов.

проступок, нарушение логики кодированных взглядов, оттенков голоса и прочих жестикуляционных параметров их частных условий соотнесения друг с другом. Он впервые рассматривал Эрика настолько открыто. Смотрел и кивал, следуя мрачному ходу какой-то мысли.

— Мы хотим подстричься, — сообщил ему Эрик.

Он видел, как лейтенант полиции несет рацию. Что пришло ему на ум, когда он это увидел? Ему хотелось спросить у человека, зачем он до сих пор использует это приспособление, по-прежнему называет его так, как он его называет, зачем тащит это межеумочное сокращение из эпохи промышленных излишеств в интеллектуальные пространства, выстроенные на лучах света.

Он вернулся в машину дожидаться, когда наконец распутается пробка. Люди начали отступать — у некоторых банданы по-прежнему предохраняли лица от жжения слезоточивого газа и щупов полицейских камер. Происходили мелкие стычки, но немного и разрозненные, мужчины и женщины бежали по битому стеклу, усыпавшему тротуары, кто-то освистывал полицейских-стоиков, размещенных на островке безопасности.

Он рассказал Кински, что услышал.

— Они считают, что угроза достоверна?

— Статус — настоящая.

Она пришла в восторг. Снова стала собой, сама себе улыбаясь. Потом взглянула на него и разлилась смехом. Эрик не очень понял, что здесь смешного, но поймал себя на том, что и сам хохочет. Ему было определено, четко вытравлено. Он ощущал в себе всплеск самореализации, и тот усиливался и прояснялся.

— Интересно, правда? — спросила она.

Он подождал.

— Про людей и бессмертие.

Обожженное тело завернули и укатали полусидячим, а крысы заполонили улицы, а уже прилетели первые капли дождя, и свет радикально изменялся сверхъестественным образом, который совершенно естественен, разумеется, раз все электрическое предчувствие, оседлавшее небо, — лишь драма, сотворенная людьми.

— Ты живешь в башне, что взмывает в небеса, и ее за это Господь не карает.

Она сочла, что это забавно.

— И ты себе купил самолет. Чуть не забыла. Советский или бывший советский. Стратегический бомбардировщик. Способный разнести небольшой городок. Это так?

— Это старый «Ту-160».¹⁸ НАТО зовет его «Блэкджек-А». Поставлен на вооружение году в 88-м. Оснащен ядерными бомбами и крылатыми ракетами, — сказал он. — Только они в сделку не входили.

Она захлопала в ладоши, счастливая, очарованная.

— Но тебе не дадут на нем летать. Ты можешь на нем летать?

— Мог и летал. Мне на нем не дают летать с вооружением.

— Кто не дает?

— Госдеп. Пентагон. Бюро по алкоголю, табаку и оружию.

— А русские?

— Какие русские? Я купил его на черном рынке и за сущие гроши у бельгийского торговца в Казахстане. Там и сел за штурвал — на полчаса, над пустыней. Долларов США — тридцать один миллион.

— Где он сейчас?

— Запаркован на складской площадке в Аризоне. Ждет запчастей, которые никто не

¹⁸ «Ту-160» — советский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла. Разработан в ОКБ Туполева в 1980-х годах, на вооружении с 1987 г. Среди российских летчиков именуется «Белый лебедь».

может найти. Стоит на ветру. Я туда время от времени езжу.

— Делать что?

— Смотрю на него. Он мой, — ответил Эрик.

Она прикрыла глаза и задумалась. На экранах показывали диаграммы и графики, рыночные сводки. Она стиснула одну руку другой — туго, вены сплющились, от костяшек отхлынула кровь.

— Люди не умрут. Не таково ли кредо новой культуры? Людей поглотят информационные потоки. Я ничего про это не знаю. Умрут компьютеры. В своей нынешней форме они уже вымирают. Уже почти вымерли как отдельные блоки. Коробка, экран, клавиатура. Они встраиваются в текстуру повседневной жизни. Правда или нет?

— Даже слово «компьютер».

— Даже слово «компьютер» звучит отстало и тупо.

Она открыла глаза и, похоже, взглянула прямо сквозь него — говорила она тихо, и Эрик начал представлять себе, как она уселась ему на грудь посреди ночи, свечи горят, ее подхлестывает не сексуальная или какая-то демоническая сила, но желание поговорить с ним, пока он урывками спит, взболтать его сны своими теориями.

Она говорила. Такова ее работа. Она родилась ею заниматься, ей за это платят. Но во что она верит? По глазам ничего не прочтешь. По крайней мере — он не может: глаза у нее слабые, серые, отдаленные, для него неживые, временами ярко вспыхивают, но лишь в наплыве прозрения или предположения. Где у нее жизнь? Что она делает, когда приходит домой? Кто у нее дома, кроме кошки? Эрик считал, что кошка там быть должна. Как они могут о таком разговаривать, эти двое? У них нет квалификации.

Можно злоупотребить доверием, подумал он, если спросить, есть ли у нее кошка, не говоря уже про мужа, любовника, страховку. Какие у тебя планы на выходные? Такой вопрос — разновидность нападения. Она отвернется, зло и униженно. Она — голос, а тело тут как запоздалая мысль, скупая улыбка, что плывет над потоком транспорта. Придай ей историю — и она исчезнет.

— Я всего этого не понимаю, — сказала она. — Интегральные микросхемы такие крошечные и мощные. Люди и компьютеры сливаются. Это намного выше моего понимания. И начинается нескончаемая жизнь. — Она умолкла и посмотрела на него. — Разве не должна славная смерть великого человека противоречить его мечте о бессмертии?

Кински голая у него на груди.

— Мужчины думают о бессмертии. Плевать, о чем думают женщины. Мы тут слишком мелки и реальны, — сказала она. — Исторически ожидалось, что великие люди будут жить вечно, хотя они и сами надзирали за строительством собственных монументальных усыпальниц на дальнем берегу реки, на западном, там, где садится солнце.

Кински наглядна в его кошмарах — она там комментирует их же текущие события.

— И вот ты сидишь, весь такой с грандиозными видениями и гордыми деяниями. Зачем умирать, когда можно жить на диске? На диске, не в гробнице. Идеей вне тела. Разумом, который есть все, чем ты был, и все, чем будешь, только этот разум никогда не устает, не смущается, не портится. Для меня это загадка — как такое может быть. Случится ли оно когда-нибудь? Скорее, чем мы думаем, поскольку все происходит скорее, чем мы думаем. Может, даже сегодня к вечеру. Может, сегодня тот день, когда все и случится, хорошо ли это или плохо — ба-бах, вот так вот.

Были сумерки, только тусклее, в воздухе серебристая резь, а он стоял возле машины и смотрел, как из уличной толчеи выпутываются такси. Он не знал, когда ему так хорошо было в последний раз.

Давно ли? Кто знает.

Валютный тикер вернули в обычный режим работы, и иена демонстрировала новые силы, надвигаясь на доллар микроскопическими приращениями каждую секстиллионную долю секунды. Это хорошо. Это прекрасно и правильно. Эрика возбуждало мыслить

зептосекундами и наблюдать цифры в их неостановимом беге. Биржевой тикер был тоже неплох. Эрик смотрел, как мимо пролетают основные заголовки, и его как-то невыразимо очищало тем, что он видит, как цены уходят в верткие пике. Да, воздействовало сексуально, точнее — куннилингвально, и он поймал себя на том, что голова у него запрокидывается, а он открывает рот небу и дождю.

Ливень омыл пустеющий простор Таймс-сквер, где призрачно осветились рекламные щиты, а баррикады крышек прямо впереди почти расчистили, и 47-я улица открылась к западу. Дождь — это хорошо. Дождь — это драматургически правильно. Но угроза — еще лучше. Эрик заметил несколько туристов — они пробирались по Бродвею под букетами зонтиков поглазеть на обугленный участок тротуара, где неизвестный предал себя огню. Это было мрачно и неотступно. В тот момент и в этот день оно требовалось. Но трогала и ускоряла его лишь достоверная угроза. Капли дождя на лице — приятно, кислая вонь — отлично и правильно, потеки мочи на корпусе его машины созревали запахом, а впереди его ждет трепетное наслаждение, радость от всяческих несчастий в проворном падении рынков. Но именно угроза смерти на подступах ночи увереннее всего говорила с ним о некоем принципе судьбы, который — он всегда это знал — со временем прояснится.

Вот теперь он мог приступить к жизни.

Часть вторая

3

У нее была кораллово-смуглая кожа и хорошо очерченные скулы. Губы поблескивали восковым налетом. Ей нравилось, когда на нее смотрят, и раздевание свое она как бы гордо преподносила публике — разоблачение поверх всех национальных границ, с оттенком легкого показного презрения.

Пока они занимались сексом, она не снимала зайлофлексового бронежилета. Это он придумал. Она сообщила, что пуленепробиваемое волокно — легче и мягче всего, что есть в наличии, а также прочнее, кроме того — не пропускает ножевые удары.

Ее звали Кендра Хейз, и в его присутствии она не напрягалась. Секунды полторы они притворно побоксировали. Он полизал ее тело там и сям, оставляя шипучие мазки слюны.

— Вы качаетесь, — сказала она.

— Шесть процентов жира.

— У меня раньше тоже было. Потом я разленилась.

— И что ты с этим делаешь?

— По утрам на тренажерах. По ночам бегаю в парке.

У нее была коричневая кожа — ну или рыжеватая, или как сплав меди и бронзы. Интересно, чувствует ли она себя обычной, когда едет одна в лифте и думает про обед?

Она сбросила жилет и с виски, заказанным в номер, подошла к окну. Одежду сложила на ближний стул. Ему хотелось провести день в тишине, у себя в отсеке для медитаций — просто глядя на ее лицо и тело, как даосское упражнение или пост разума. Он не стал у нее спрашивать, что ей известно о достоверной угрозе. Его не интересовали детали — пока, во всяком случае, и Торваль все равно много бы не рассказывал телохранителям.

— Где он сейчас?

— Кто?

— Сама знаешь.

— В вестибюле. Торваль? Следит за входящими и выходящими. А Данко в холле снаружи.

— Это еще кто?

— Данко. Мой напарник.

— Новенький.

— Это я новенькая. Он вам спину прикрывает уже долго — с балканских войн. Он ветеран.

Эрик сидел по-турецки на кровати, кидал в рот арахис и смотрел на нее.

— Как он к этому отнесется?

— Торваль? Вы о нем говорите? — Она развеселилась. — Назовите по имени.

— Что он тебе скажет?

— Лишь бы вы были в безопасности. Это его работа, — ответила она.

— Мужчины становятся собственниками. Что. Ты не знаешь?

— Слухи доходили. Но дело в том, что, говоря строго, моя смена уже час как закончилась. Поэтому теперь мы тратим мое личное время.

Она ему нравилась. Чем больше Торваль ее, судя по всему, ненавидит, тем больше она Эрику нравится. За это ее Торваль будет ненавидеть со всей пылкостью. Целыми неделями станет пялиться на нее из-под насупленных бровей.

— Считаешь, интересно?

Она сказала:

— Что?

— Оберегать кого-то от опасности.

Он хотел, чтобы она подвинулась чуть левее, поймала бедром свет ближней лампы.

— Отчего ты на это идешь? Рискуешь.

— Может, вы того стоите, — ответила она.

Она макнула палец в стакан, потом забыла облизнуть.

— Может, из-за денег. Платят очень неплохо. Риск? О риске я не думаю. Прикидываю, риск-то тут ваш. В прицеле же вы.

Она решила, что это смешно.

— Но интересно?

— Интересно быть рядом с человеком, которого кто-то хочет убить.

— Ведь знаешь, что говорят, правда?

— Что?

— Убийство — логическое продолжение бизнеса.

Тоже смешно.

Он сказал:

— Подвинься левее.

— Подвинуться левее.

— Вот так. Славно. Идеально.

У нее лисье-смуглая кожа, волосы туго заплетены у самого черепа.

— Как он тебя вооружил?

— Электрошокер. Пока не доверяет мне смертоносное оружие.

Она подошла к кровати и взяла у Эрика из руки стакан с водкой. Он по-прежнему кидал в рот орешки и не мог остановиться.

— Вам нужно лучше питаться.

Он сказал:

— Сегодня иначе. Сколько вольт у тебя в распоряжении?

— Сто тысяч. Коротит всю нервную систему. Падаешь на колени. Вот так, — сказала она.

Она капнула водкой ему на гениталии. Ужалило, стало жечь. При этом она смеялась, и ему захотелось, чтобы она сделала так еще. Она снова полила струйкой и наклонилась вылакать, испускала его языком в водке, затем встала над ним на колени, оседлав. В руках у нее было по стакану, и она пробовала удерживать равновесие, пока они подсакивали и смеялись.

Он допил ее скотч и горстями ел арахис, пока она ходила в душ. Смотрел на нее в душе и думал: вот женщина ремней и завязок. На каком-то уровне голой она не будет никогда.

Потом он стоял у кровати и смотрел, как она одевается. Не спешит, бронжилет

защелкивается на торсе, брюки сейчас защелкнутся, дальше обувь — она уже прилаживала кобуру к бедру, когда заметила, что он стоит в одних трусах.

Он сказал:

— Оглуши меня. Я серьезно. Вытащи пушку и пали. Я этого хочу, Кендра. Покажи мне, как это. Мне хочется еще. Покажи мне такое, чего я не знаю. Оглуши меня до самой ДНК. Давай же, ну. Щелкни переключателем. Прицелься и стреляй. Я хочу получить все вольты, что в нем только есть. Давай. Пали. Ну.

Машина стояла у отеля, через дорогу от театра «Бэрримор»,¹⁹ где под козырьком сгрудились курильщики в антракте.

Эрик сидел в машине, занимал иену и смотрел, как на нескольких экранах цифры его фонда тонут в дымке. Торваль стоял под дождем, сложив руки на груди. Одинокая фигура на улице, лицом к ряду пустых погрузочных эстакад.

Кутерьма с иеной освобождала Эрика от влияния неокортекса. Он себя чувствовал свободнее обычного — настроен на регистры подкорки, а от необходимости вдохновенных действий все дальше: не нужно выносить оригинальные суждения, придерживаться независимых принципов и убеждений, тут все сразу, отчего у людей в головах пиздец, а у крыс и птичек — нет.

Наверное, помог электрошокер. От напряжения вся его мускулатура минут на десять-пятнадцать обратилась в студень, и он катался по коврику в номере, дергаясь в электроконвульсиях, в странном возбуждении, без всяких способностей рассуждать.

Но теперь мыслить мог — и неплохо для того, чтобы понимать, что происходит. Валюты рушились повсюду. Распространялись банковские крахи. Эрик нашел хумидор и зажег сигару. Стратеги не могли объяснить эти скорость и глубину падения. Открывали рты, из них выходили слова. Он знал, что дело в иене. Бури беспорядка вызывались его действиями по отношению к иене. Он использует столько заемных средств, портфель его фирмы так велик и обширен, критически связан с делами стольких ключевых финансовых институтов, и все они взаимно уязвимы, что сейчас вся система в опасности.

Эрик курил и смотрел, ощущая свою силу, гордый, глупый и надменный. Кроме того, ему было скучно и немного наплевать. Они делают из мухи слона. Он считал, что все через день-другой закончится, и уже собрался было передать кодовое слово шоферу, когда заметил, что люди под козырьком разглядывают его машину, всю помятую и разукрашенную.

Он опустил окно и пристальнее всмотрелся в одну женщину. Сперва решил, что это Элиза Шифрин. Так вот он думал иногда о своей жене — полным именем, ввиду ее относительной известности в светской хронике и модных журналах. Потом засомневался, кто это — либо из-за того, что вид ему частично перекрыли, либо из-за того, что у рассматриваемой женщины в руке была сигарета.

Он с силой толкнул дверь и перешел дорогу, под боком — Торваль, умело сдерживая ярость.

— Мне нужно знать, куда вы направляетесь.

— Подожди, узнаешь, — сказал он.

Женщина отвернулась, когда он подошел. Элиза и есть, в профиль — как ни в чем не бывало.

— Ты куришь с каких пор.

Она ответила, не обернувшись, из кажущегося далека.

— Начала в пятнадцать. Девочки это подхватывают. Сигарета сообщает девочке, что она не просто костлявое тело, на которое никто не смотрит. Что в ее жизни есть место драме.

¹⁹ «Театр Этель Бэрримор», названный в честь американской театральной актрисы Этель Бэрримор (1879–1959), открылся в 1928 г. и располагается по адресу Западная 47-я улица, 243.

— Она себя замечает. Следом ее замечают другие. За одного она выходит замуж. Потом они идут ужинать, — сказал он.

Торваль и Данко взяли машину в клещи, и она не спеша двинулась по улице среди россыпи такси, а муж и жена оценивали перспективы наличных питательных заведений. На одном экране появился справочник ресторанов на этой улице, и Элиза выбрала старое надежное бистро под землей. Эрик выглянул в окно и увидел щель в стене под названием «Маленький Токио».

Внутри было пусто.

— На тебе кашемировый свитер.

— Это правда.

— Бежевый.

— Да.

— А это твоя юбка с бисером ручной вышивки.

— Да, она.

— Я замечаю. Как пьеса?

— Я ушла в антракте, нет?

— О чем и кто играл? — Я поддерживаю разговор.

— Я вдруг решила сходить. В зале почти никого. Через пять минут после занавеса я поняла, почему.

У столика высился официант. Элиза себе заказала салат из свежей зелени, если это возможно, и бутылочку минеральной воды. Без газа, пожалуйста, простую.

Эрик сказал:

— А мне дайте сырую рыбу с гидрагирозом.

Он сидел лицом к улице. Данко стоял снаружи у самой двери, женщины с ним не было.

— Где твой пиджак?

— Где мой пиджак.

— Раньше на тебе был пиджак от костюма. Где твой пиджак?

— Потерялся в суете, наверное. Ты же видела машину. На нас напали анархисты. Всего два часа назад они устроили самую большую демонстрацию на свете. А теперь что, забылось.

— Я бы хотела забыть и кое-что еще.

— От меня пахнет арахисом.

— Я разве не видела, как ты выходишь из отеля чуть выше по улице, пока стояла возле театра?

Ему это очень нравилось. Она ставит себя в невыгодное положение, устраивая ему такой мелочный допрос, а он себя ощущает мальчишески изобретательным бунтарем.

— Я мог бы тебе сказать, что надо было провести экстренное совещание штата в связи с кризисом. Ближайший конференц-зал был в отеле. Или мог бы сказать, что мне понадобилось зайти в мужскую комнату в вестибюле. В машине есть туалет, но ты этого не знаешь. Или что я пошел в оздоровительный клуб отеля сбросить напряжение дня. Мог бы тебе сказать, что час провел на беговом тренажере. А потом пошел поплавать, если там есть бассейн. Или поднялся на крышу посмотреть, как сверкает молния. Обожаю, когда дождь нерешительный, в наши дни такое с ним бывает редко. В нем что-то от кнута, когда он волнисто хлещет по крышам. Или что бар в машине необъяснимо опустел, и я зашел выпить. Я мог бы тебе сказать, что зашел выпить в вестибюльный бар, где всегда свежий арахис.

Официант сказал:

— Приятного аппетита.

Она посмотрела на салат. Затем принялась его есть. Просто вкопалась в него, он для нее пища, а не какая-то экстрюзия материи, которую не может объяснить наука.

— Ты меня в этот отель хотел позвать?

— Нам не нужен отель. Мы это сделаем в дамской комнате. Зайдем в переулок за домом и погремим мусорными баками. Послушай. Я стараюсь наладить контакт

наиболее обычным способом. Видеть и слышать. Обращать внимание на твои настроения, на твою одежду. Вот что важно. Не сбились ли чулки на сторону? На каком-то уровне я это понимаю. Как люди выглядят. Что люди носят.

— Как они пахнут, — сказала она. — Ничего, что я об этом? Веду себя, как жена? Я скажу тебе, в чем проблема. Я не умею быть безразличной. Ничего не могу с этим сделать. А оттого уязвима для боли. Иными словами, мне больно.

— Это хорошо. Мы беседуем, как люди. Люди разве не так разговаривают?

— Откуда мне знать?

Он проглотил сакэ. Повисла долгая пауза.

Он сказал:

— У меня асимметричная простата.

Она откинулась на спинку и задумалась, глядя на него с долей озабоченности.

— Что это значит?

Он ответил:

— Я не знаю.

Осязаемая корректировка, разделенное беспокойство и восприимчивость.

— Тебе нужно к врачу.

— Я только что встречался с врачом. Я встречаюсь с врачом каждый день.

Зальчик, улица снаружи была совершенно тиха, и они теперь шептались. Никогда не были так близки, считал он.

— Ты только что встречался с врачом.

— Оттого и знаю.

Они над этим задумались. Хотя миг суровый, между ними проскочило нечто отдаленно забавное. Может, в неких частях тела таится юмор, хотя неполадки этих частей медленно тебя убивают, близкие собираются у одра, над испакощенными простынями, а другие в вестибюле, курят.

— Послушай. Я женился на тебе из-за твоей красоты, но тебе не нужно быть красивой. Я женился из-за денег в каком-то смысле, из-за их истории, когда они много поколений копились, и мировые войны не помеха. Мне это не особо нужно, но чуточку истории не помешает. Семейные слуги. Винные погреба. Дегустации только для своих. Вместе выплевывать мерло. Глупо, но мило. Вина поместного разлива. Скульптуры в ренессансном саду под виллой на холме, среди лимонных рощ. Но тебе не нужно быть богатой.

— Мне просто нужно быть безразличной.

Она заплакала. Он никогда не видел, как она плачет, и ему стало беспомощно. Вытянул руку. Она так и осталась вытянутой, между ними.

— На нашей свадьбе ты был в тюрбане.

— Да.

— Моей матери очень понравилось, — сказала она.

— Да. Но теперь я ощущаю перемену. Вызываю перемену. Ты читала меню? У них есть мороженое из зеленого чая. Тебе такое может понравиться. Люди меняются. Я знаю, что теперь важно.

— Скучно это говорить. Прощу тебя.

— Я знаю, что сейчас важно.

— Хорошо. Но отметь скепсис в голосе, — сказала она. — Так что сейчас важно?

— Осознавать, что вокруг. Понимать ситуацию другого человека, его чувства. Знать, короче говоря, что важно. Я думал, тебе надо быть красивой. Но это уже неправда. Еще сегодня днем было. Но все, что было правдой тогда, теперь неправда.

— Что означает, насколько я понимаю, что ты меня красивой больше не считаешь.

— Зачем тебе быть красивой?

— Зачем тебе быть богатым, знаменитым, умным, могущественным и зачем, чтобы тебя боялись?

Рука его по-прежнему висела между ними. Он взял ее бутылку воды и допил. Затем

сказал, что портфель «Капитала Пэкера» за день сократился почти до полного исчезновения, а его личное состояние в десятки миллиардов с этим фактом состоит в пагубной конвергенции. Кроме того, сообщил, что кто-то в этой дождливой ночи представляет собой достоверную угрозу его жизни. Затем посмотрел, как она переварит новости.

Он сказал:

— Ты ешь. Это хорошо.

Но она не ела. Она переваривала новости, сидя в белом безмолвии, вилка наготове. Ему хотелось вывести ее в переулок и там заняться с нею сексом. А дальше — что? Этого он не знал. И вообразить не мог. Но он такого никогда не мог. Для него имело смысл, что его непосредственные и затянувшиеся будущие спрессуются в те события, что произойдут за несколько следующих часов, какими бы ни были, или минут, или даже меньше. Только такую продолжительность жизни он признавал реальной.

— Это нормально. Все прекрасно, — сказал он. — Мне от этого так свободно, как никогда раньше не было.

— Какой ужас. Не говори так. Свободно делать что? Обанкротиться и сдохнуть? Послушай меня. Я помогу тебе финансово. Я правда сделаю все, что смогу. Ты заново себя восстановишь — как сумеешь быстро, как вообще сможешь. Скажи, что тебе нужно. Честное слово, я помогу. Но как у пары, как у семьи у нас все кончено, правда? Ты говоришь о свободе. Сегодня твой удачный день.

Бумажник он оставил в пиджаке в номере. Она взяла чек и опять заплакала. И плакала весь чай с лимоном, а пока они вместе шли к выходу, тесно обнявшись, ее голова покоилась у него на плече.

Тлеющую сигару он нашел в пепельнице на баре в машине и снова зажег ее. От ее аромата у него возникало ощущение крепкого здоровья. Где-то в горящих листьях Эрик чувал благосостояние, долгую жизнь, даже безмятежное отцовство.

Через дорогу располагался другой театр — в заброшенном конце квартала, «Билтмор»,²⁰ — и Эрик видел его фасад в лесах и строительный мусор в контейнере неподалеку. Здание реставрировали, и парадный вход был закрыт, но в служебный проскальзывали люди, молодые мужчины и женщины — украдкой парочками и кучками, к тому же он слышал произвольный шум, либо промышленные звуки, либо музыку массивными биениями и кляксами, она доносилась из каких-то глубин здания.

Он знал, что войдет туда. Но сначала нужно потерять еще денег.

Стекло у него на часах тоже служило экраном. Когда Эрик активировал выход в сеть, другие функции пригасли. Серию зашифрованных подписей он декодировал недолго. Так он раньше взламывал корпоративные системы — за деньги тестировал их безопасность. На сей раз он решил проверить банк, маклера и офшорные счета Элизы Шифрин, а следом алгоритмически прикинуться ею и перевести с этих счетов деньги «Капиталу Пэкера», где открыл на ее имя новый счет, более-менее сразу, ногтем понажимав циферки на крошечной клавиатуре, расположенной вокруг желобка, в который вправлялось стекло часов. После чего пошел просаживать, систематически распуская эти круги в дыму громяющих рынков. Он это делал, чтобы удостовериться — он не может принять ее предложение финансовой помощи. Жест его тронул, но следовало, разумеется, удержаться, ну или умереть душой. Но это не единственная причина просрать ее право по рождению. Он выступал с собственным жестом — символом иронической последней сцепки. Пусть валится. Пусть они увидят друг друга чистыми и осиротелыми. Такова месть индивида мифической паре.

Сколько же она стоит?

Цифра удивила его. Общая сумма в долларах США — семьсот тридцать пять

²⁰ Театр «Билтмор» открылся в 1925 г. по адресу Западная 47-я улица, 261. Долго восстанавливался после пожара в 1987 г., в 2008 г. переименован в «Театр Сэмюэла Дж. Фридмена».

миллионов. Она казалась ничтожной — выигрыш в лотерею, поделенный между семью работниками почты. Слова дребезжали ничтожно, и он попробовал устыдиться за нее. Но все это по-любому пустой треп. Воздух, вылетающий изо рта, когда произносят слова. Строки кода, взаимодействующие в имитации пространства.

Пусть они увидят друг друга как есть, в безжалостном свете.

Данко опередил его на полпути к служебному входу. Там размещался вышибала — громадный, стероидный, на больших пальцах перстни с черепами в камушках. Данко перекинулся с ним парой слов, приоткрыв полу пиджака, чтобы стала видна кобура с оружием, — лучшие верительные грамоты, — и мужик объяснил, куда идти. Эрик двинулся за телохранителем по оштукатуренному сырому проходу, вверх по крутой и узкой железной лесенке, на мостик над сценой.

Он смотрел сверху на выпотрошенный театр, ритмично содрогавшийся от электронного звука. В партер и ложи набились тела, среди мусора на втором балконе тоже танцевали — балкон еще не снесли, — а еще все рассредоточились вниз по лестницам и в вестибюль, тела в циклоническом танце, а на сцене и в оркестровой яме — еще броски тел, омываемых ахроматическим светом.

С балкона болтался простынный транспарант с выведенными от руки буквами.

ПОСЛЕДНИЙ ТЕХНО-РЕЙВ

Музыка была холодна и монотонна, компьютер вил из нее петли долгих перкуSSIONных пассажей, а под пульсом бита, как из далекого тоннеля, слышалось что-то еще.

— С ума сойти. Захватить весь театр. Как считаете? — сказал Данко.

— Не знаю.

— Я тоже не знаю. Но по-моему, это сумасшествие. Как от наркотиков. Как считаете?

— Да.

— По-моему, это новейший наркотик. Называется «ново». От него притупляется боль. Посмотрите, как им хорошо.

— Детки.

— Они детки. Точно. Что у них за боль такая, от которой надо глотать таблетки? Музыка ладно, громковато, ну так что с того. Прекрасно, как они танцуют. Но что у них может быть за боль такая, им ведь даже пива еще не продают.

— Боли на всех теперь хватает, — сказал ему Эрик.

Трудная задача — говорить и слушать. Наконец им пришлось посмотреть друг на друга — читать по губам в ошеломительном шуме. Теперь, когда Эрик знал имя Данко, он мог его видеть — частично. Лет сорока, средних габаритов, на лбу и щеке шрам, кривой нос и жесткие короткие волосы. Не в одежде он жил, не в водолазке и блейзере, а в теле, выкованном из грубого опыта, из того, что перестрадал и довел до крайностей.

Музыка пожирала сам воздух, шла из гигантских динамиков, установленных среди обрушенных фресок на противоположных стенах. Эрик начал ощущать какую-то инаковость, странную аритмию происходящего. Казалось, танцующие движутся против музыки — еще медленнее, хотя темп сжимался и нарастал. Они открывали рты и мотали головами. У всех мальчиков были яйцевидные головы, девочки — словно из секты заморышей. Источник света располагался где-то на техническом этаже над балконом — из него истекали длинные серые волны окаймленного серого холода. На взгляд того, кто смотрел сверху, свет падал на рейверов и как-то смягчал их, в некой визуальной противофазе зловещему звуку. Под музыку подкладывался далекий трек, напоминающий женский голос, но то был не он. Он говорил и стонал. Говорил такое, в чем, казалось, был смысл, но его не было. Эрик слушал, как он говорит за рамками каких бы то ни было языков, когда-либо применявшихся человечеством, а когда голос затих, Эрику стало его не хватать.

— Не верю, что я здесь, — сказал Данко.

Он взглянул на Эрика и улыбнулся мысли, что он здесь, среди американских подростков в стилизованном восстании, под музыку, что тебя завоевывает, подменяет твою кожу и мозг цифровой тканью. В воздухе носилось что-то заразное. Тебя втягивали не только музыка и огни, а зрелище массовых танцев в театре, уже лишенном покраски, кресел и истории. Эрик подумал, что и наркотик здесь тоже может быть, этот ново, распространяет воздействие — от тех, кто его принял, на тех, кто нет. Ты заражаешься тем, чем болеют они. Сначала раздерган и смотришь, а потом вливаешься — и уже с толпой, и уже в ней, а потом и сам — толпа, собранная густо и танцующая, как один.

Здесь они невесомы. Эрик подумал, что наркотик, наверное, разобщает, разделяет сознание и тело. Это пустая толпа, за пределами забот и боли, она притянута к остекленелому повтору. Вся угроза электроники — лишь в самом повторении. Такова их музыка — громкая, вкрадчивая, бескровная и управляемая, и Эрику она уже нравилась.

Но, глядя, как они танцуют, Эрик ощущал себя стариком. Без него пришла и ушла целая эпоха. Они вплавлялись друг в друга, чтобы самим не усохнуть как личности. Шум стоял почти невыносимый, прорастал корнями в волосы и зубы. Эрик видел и слышал чересчур много. Но это единственная защита от его расползающегося состояния ума. Ни разу не коснувшись наркотика, не попробовав его, даже не видев его, он ощущал себя немного меньше собой, немного больше другими — что внизу, неистовствуют на рейве.

— Скажете мне, когда уходим. Я вас выведу.

— Где он?

— У входа. Торваль? Наблюдает у дверей.

— Ты убивал людей?

— Как считаете? Как пообедать, — сказал он.

Они уже были в трансе, танцевали в замедленном движении. Музыка стала отдавать зауспокойной мессой, а лирические завитки клавишных связывали воедино все доли сожаления. То был последний технорейв, конец всему, чему вообще конец.

Данко свел его по длинной лестнице, по проходу. Там были гримерки с рейверами внутри — детки сидели и лежали везде, привалившись друг к другу. Эрик стоял в дверях и наблюдал. Они не могли ни говорить, ни двигаться. Один лизал другого в лицо — единственное движение во всей комнате. Хотя самосознание слабо, Эрик видел, кто они такие в своем химическом делирии, и познавать их во всей этой хрупкости было нежно и трогательно, в их тоске бытия, поскольку они всего лишь детки, пытаются всего лишь не рассеяться в воздухе.

Он почти дошел до служебного выхода, когда сообразил, что Данко с ним нет. Это он понял. Телохранитель остался где-то позади, танцевал, до него уже не дотянуться его, Эрика, войнам и трупам, его снайперам разума, что стреляют на самой заре.

Шаг за шагом он продвигался с Торвалем к машине. Дождь прекратился. Это хорошо. Явно так ему и следовало поступить. Улица несла на себе мерцание натриевых фонарей и настроение медленно развертывающегося напряжения.

— Где он?

— Решил остаться, — сказал Эрик.

— Хорошо. Нам он не нужен.

— Где она?

— Отправил домой.

— Хорошо.

— Хорошо, — сказал Торваль. — Хорошо все выглядит.

В лимузине кто-то расположился. Скособочилась на банкетке, задремывая, вся в тряпье и пластике, и Торваль погнал ее прочь. Она, слегка станцевав, вывернулась и осталась в совокупности — стоять грудой одежды, узлов с пожитками и бутербродных мешочков для милостыни, заткнутых за пояс.

— Мне нужна цыганка. Кто-нибудь может гадать по руке?

Из тех неиспользуемых голосов, что звучат вне мира.

— А по ноге? — сказала она. — Погадайте мне по ноге.

Эрик пошарил по карманам, нет ли денег, как глупо это, какая досада, он зарабатывал и терял суммы, которых хватило бы на колонизацию планеты, но женщина уже шла по улице в драных туфлях, подошвы хлопали, а в карманах брюк у него все равно ни монет, ни купюр, да и документов никаких.

Машина пересекла Восьмую авеню, из театрального района, от гирлянды вечерних клубов и салонов, заехала уже за розничные атриумы, за конторы авиакомпаний и автомобильные демонстрационные залы, въехала в местное, смешанное, в преимущественно незаметные кварталы химчисток и школьных дворов, здесь остался лишь намек на прежний гомон, прежнее бурление и жар Адской кухни,²¹ расчески пожарных лестниц на старых кирпичных домах.

Машин было не густо, но лимузин тащился не спеша, как весь день. Это потому, что Эрик сидел в кресле и разговаривал в открытое окно с Торвалем, который шел по тротуару рядом.

— Что мы знаем?

— Нам известно, что это не группа. Не организованная террористическая ячейка, не международная банда похитителей, которая будет требовать выкуп.

— Отдельная личность. Нам не все равно?

— У нас нет имени. Но у нас есть телефонный звонок. Комплекс анализирует речевые данные. К определенным выводам уже пришли. И проектируют порядок действий со стороны индивида.

— Почему эта тема не вызывает во мне любопытства?

— Потому что неважно, — сказал Торваль. — Кто бы это ни был, это он и есть.

С этим Эрик согласился, что бы оно ни значило. Они перемещались по улице меж рядами баков, выставленных для мусорщиков, мимо мрачного отеля и синагоги для актеров.²² На улице стояла грязная вода — все глубже по мере их продвижения, уже четыре дюйма, осталась после прорыва водопровода днем. Из квартала еще не ушли рабочие в люминесцентных жилетах и высоких сапогах, под прожекторами, и Торваль на ходу высоко поднимал ноги, пробираясь через многолетние наслоения грязи, с каждым горьким шагом от него летели брызги, пока половодье не обмелело до дюйма стоячей воды.

Прямо впереди установили полицейские заграждения, перекрывая выезд на Девятую авеню. Поначалу Торваль полагал, что это из-за потопа на улицах. Но на другой стороне авеню бригады по расчистке не работали. Затем он решил, что в центр на какое-то официальное мероприятие едет президентский кортеж, наконец выпутавшийся из городских пробок. Но вдали играла музыка, начали собираться люди — слишком много, слишком молодые, в наушниках, вряд ли это ради проезда президента. Наконец Торваль поинтересовался у полицейского в кордоне.

Двигутся похороны.

Эрик вышел из машины и встал у велосипедного магазина на углу, Торваль занял позицию неподалеку. Сквозь густевшую толпу к ним пробирался гигант — широкий, мясистый, мрачный, в бледных льняных штанах и черной кожаной рубашке-безрукавке, тут и там — платиновые аксессуары. То был Козмо Томас, менеджер дюжины рэперов, некогда

²¹ Адская кухня — район Манхэттена между 34-й и 59-й улицами, Восьмой авеню и рекой Гудзон. Название район получил из-за высокого уровня преступности с середины 1800-х до конца 1980-х годов — оно впервые появилось в газете «Нью-Йорк Таймс» в 1881 г. С 1960-х официальные власти стали называть район Клинтон.

²² Имеется в виду «Актёрский храм» («Конгрегация Эзрат Израэль») — синагога, открытая в 1917 г. в Адской кухне (с 1923 г. — по адресу Западная 47-я улица, 339). Ее традиционно предпочитали работники сферы развлечений, телевидения и кинопромышленности.

совладелец конюшни скаковых лошадей вместе с Эриком.

Они обменялись сложным рукопожатием и полуобнялись.

— Зачем мы здесь?

— Не слыхал?

Эрик сказал:

— Что?

Козмо постукал себя кулаком в грудь, почтительно.

— Братуха Феск.

— Что?

— Помер.

— Нет. Что. Не может быть.

— Помер. Умер. Сегодня утром.

— Я этого не знаю?

— Похороны идут весь день. Родня хочет дать городу возможность попрощаться. Лейблу надо поэксплуатировать событие. Крупно и громко. Улица за улицей. Всю ночь.

— Я этого не знаю? Как такое возможно? Я люблю его музыку. У меня его музыка в лифте играет. Я знаю этого чувака.

Он знал этого чувака. Печаль, заунывность его замечания слышалась в самой музыке — в духовных импровизациях и ритмах, напоминающих каввали,²³ которым больше тысячи лет, они звучали все громче, похоронная процессия приближалась по авеню, которую расчистили от постороннего движения и запаркованных машин.

— Что, его застрелили?

Сначала взвод мотоциклистов — городская полиция клином. Следом два фургона частной охраны, по бокам полицейской патрульной машины. Все было до того ясно, еще один мертвый рэпер, как полагается звезде рэпа — упасть, мурлыча мелодию, под градом пуль за то, что не уплатил феодальную дань в виде уважения, или денег, или женщины какому-нибудь сомнительному типу. В такие дни, разве нет, влиятельные люди вдруг кончают очень плохо.

Козмо глянул косо.

— У Феска уже много лет проблемы с сердцем. Еще со старших классов. Ходил к специалистам, советовался со знахарями. Сердце просто не выдержало. Он тебе не громила в темном переулке. Его ни разу в жизни не заставляли дуть в трубочку, ну почти — с семнадцати лет.

Следом ехали машины с цветами — десять, заваленные белыми розами, которые трепетали на ветру. Следом — катафалк, открытая машина, Феск лежал в кузове при полном параде в гробу, приподнятом, чтобы всем было видно тело, повсюду асфodelи, мясисто-розовые, цветы Аида, куда души мертвых отправляются отдыхать в лугах.

Усиленный голос покойника раздавался откуда-то из хвоста процессии — пел медленными гипнотическими синкопами под аккомпанемент фисгармонии и табы.

— Надеюсь, ты не разочарован.

— Разочарован.

— Что нашего не застрелили. Надеюсь, он тебя не подвел. Естественная причина. А это облом.

Козмо ткнул большим пальцем куда-то за спину.

— Что с твоей тачкой? Позволяешь хорошей машине разваливаться на людях. Стыд и позор, чувак.

— Все стыд и позор. Умереть — стыд и позор. Но все мы это делаем.

— По ночам я слышу голоса. Потому что знаю, ты так говорить не можешь.

²³ Каввали — разновидность суфийской религиозной музыки, распространенная преимущественно в Пакистане и Северной Индии. Традиция каввали насчитывает более 700 лет, в XX веке популяризовалась пакистанским певцом Нусратом Фатехом Али Ханом.

У лимузинов шли десятки женщин в платках и джеллабах, все руки в хне, босиком, выли. Козмо опять стукнул себя в грудь, Эрик — тоже. Ему казалось, что друг его внушителен в своем покое: окладистая борода, белый шелковый кафтан с откинутым капюшоном, на голове — культовая красная феска, стильно надетая набекрень; как трогательно, что вот человек лежит, обернутый спиралями собственных вокальных интерпретаций древней суфийской музыки, — он исполнял рэп на пенджаби и урду, а также на развязном уличном английском черных.

Влезть под пулю просто
Семь раз вставал я к краю
А теперь поэтом стал
И рифмы подбираю

Толпа большая и притихшая, у тротуаров она уплотнялась, а из окон квартир смотрели люди в ночном белье. Катафалк сопровождали четверо личных телохранителей Феска — они шли медленным маршем у четырех углов машины. Одеты по-западному, темные костюмы и галстуки, начищенные «оксфорды», боевые автоматы — в положении «на грудь!».

Эрику понравилось. Телохранители даже после смерти. Эрик подумал: *во*.

Следом двигались брейк-дансеры — в отглаженных джинсах и кедах, подтверждая собой историю жизни покойного, урожденного Реймонда Гэзерса из Бронкса, некогда знаменитого танцора. То были его сверстники, шесть человек растянулись по шести полосам движения, всем сильно за тридцать, они вновь вышли на улицы через столько лет — вертеть гелики и бочки, невозможно вращаться по осям на голове.

— Спроси, люблю ли я эту срань, — сказал Козмо.

Однако энергия и блеск сообщали толпе некоторую меланхолию, больше сожаления, нежели возбуждения. Даже те, кто помоложе, казались подавленными, слишком уж почтительными — а брейкеры вертелись на локтях, размахивали телами параллельно земле, охваченные горизонтальным неистовством.

Скорбь должна быть могуча, подумал Эрик. Но толпа еще только училась скорбеть по такому уникальному рэперу, как Феск, который смешивал языки, ритмы и темы.

Лишь Козмо выглядел живым и фанковал.

— Раз я такой здоровый и ретронегритос, я должен любить то, что вижу. Потому что заниматься этим мне не приснится даже в самый голодный день на земле.

Да, они вращались на головах, вытянув тела вверх, а ноги слегка расставив, у одного брейкера руки были даже скованы за спиной. Эрику казалось, что в этом какая-то мистика — человеку такое принять не под силу, полубезумная страсть святого пустытника. Должно быть, ему совсем не место в этом мире, тем паче — тут, в смазке и асфальте Девятой авеню.

Дальше ехали родственники и друзья — в тридцати шести белых вытянутых лимузинах, по три в ряд, виднелись серьезные профили мэра и комиссара полиции, а также десятка конгрессменов, матери невооруженных черных, застреленных полицией, и собратья по рэпу в средней фаланге, а за ними руководители СМИ, иностранные сановники, лица из кино и телевизора, и повсюду рассеяны религиозные деятели со всего мира в их мантиях, рясах, кимоно, сандалиях и сутанах.

Над головами пролетели четыре вертолета служб новостей.

— Ему нравилось попов держать под рукой, — сказал Козмо. — Как-то заявился ко мне в кабинет с имамом и двумя белыми парнишками из Юты в костюмчиках. Всегда отлучался на молитву.

— Он одно время жил в минарете в Лос-Анджелесе.

— Слышал.

— Я однажды съездил в гости. Он построил его рядом с домом, а потом переселился из дома в минарет.

Голос покойника теперь звучал громче — приближался грузовик со звукоусилительной

установкой. Его лучшие песни были сенсационны, и даже те, что были не хороши, были хороши.

Глушившиеся голосом хлопки хора стали громче, и Феска повело в импровизированные ритмы, которые звучали безрассудно, казалось, их невозможно поддерживать долго. Раздавались всплески истового воя, уханье и уличные крики. Ритмичные хлопки распространились от звукоустановки на людей в лимузинах и толпу на тротуаре — и ночь насытилась чистой эмоцией, радостью пьянящей целостности, он и они, мертвый и условно живые.

Шеренга пожилых католических монашек в полном облачении читала розарий — они преподавали в начальной школе, куда он ходил.

Голос его звучал еще быстрее — на урду, затем на невнятном английском, его вдруг пробили пронзительные вопли певицы из хора. В этом звучал восторг, яростное ликование, а также что-то еще, невыразимое, падающее с обрыва, когда все смыслы уже израсходованы и не остается ничего, кроме завораживающей речи, когда слова наползают друг на друга — без барабанов, без хлопков, без женских истошных воплей.

Наконец голос умолк совсем. Люди решили, что на этом всё. Их, опустошенных, трясло. Восторг Эрика от того, что он обанкротился, казалось, благословлен этим, официально заверен. Из него изъято все, кроме ощущения всеохватной неподвижности, предопределенности, которая ни в чем не заинтересована и свободна.

А потом он подумал о собственных похоронах. Недостойный он и жалкий. Ладно там телохранители, четверо против троих. Какой комплект элементов нужно подобрать, чтобы хоть как-то сравниться с тем, что происходит здесь? Кто придет смотреть на него, эдак разложенного? (Набальзамированный компонент в поисках мертвеца в тон.) Те, кого он сокрушил, придут поразвлекать свою злобу. Те, кто для него сливался с обоями, будут стоять над ним и злорадствовать. Он будет напудренным трупом в саркофаге мумии, а они дожили до того дня, когда этому можно порадоваться.

Стало быть, думать о сборище плакальчиков — уныло. Над этим зрелищем он не властен. А похороны еще не закончились.

Потому что следом пришли дервиши — за зовом одинокой флейты. Худые мужчины в рубахах и длинных расклешенных юбках, в топазово-желтых шапочках без полей, цилиндрических, высоких. Они кружились, они медленно поворачивались, широко раскинув руки и слегка запрокинув головы.

Теперь голос Братухи Феска, хриплый и без аккомпанемента, медленно преодолевал монодический рэп, которого Эрик раньше не слышал.

Парнишка считал, что все знает в системе
Улицы князь, как сказал — так и стой
Но его научили философеме
Говори только то, что скажет любой

Молодой брейк-дансер, навлекающий на себя все опасности улицы, его арестовывают, бьют, танцами он собирает милостыню на платформах подземки, куплет за куплетом разворачивается его стыд, сияющие женщины в трико, для него недоступные, а затем — миг открытия.

Нить зари, что Восток пробуждает
И ширится крик спавших душ

Он вливается в суфийскую традицию, в борьбу за то, чтобы стать другим нищим — просителем рифм, который поет свой антиматериальный рэп (как он сам его называл), учит языки и обычаи, которые кажутся ему естественными, а не за семью печатями таинств и чуждости, благословение, вшитое в кожу.

О Бог О Человек твоя участь проста
Соси молоко молитвы и поста

Богатство, почести в сотне стран, бронированные автомобили и телохранители, сияющие женщины, да, снова, теперь повсюду, еще одно благословение плоти, женщины под паранджами и в джинсах, цепляются за кроватные столбики, раскрашенные и простушки, и он пел об этом несколько сокрушенно, и голос его звучал как в провидческой грезе, где ему сообщили о слабом сердце.

Мне сказали о том под косым потолком
Мои уши для сосулек истины тесны
И никчемная душа изо рта летит спеша
А золотой мой зуб раскололся до десны

На улице плясало двадцать дервишей, все, наверное — архетипичны, первой и священной модели, видимо, всей ватаги брейк-дансеров, только не вверх тормашками. И последние слова Феска не находили красоты в умирании молодым.

Дай мне быть кем я был
Шут без рифмы
Заблудился но жив

Теперь музыка наполнила собою ночь — уды, флейты, тарелки и барабаны, а танцоры вертелись вихрем, против часовой стрелки, с каждым оборотом все быстрее. Они кружатся прочь из собственных тел, подумал Эрик, устремляются к пределу любого владения.

Хор все настойчивей.

Поскольку кружение есть всё. Кружение есть драма сбрасывания всего. Поскольку все они вращаются навстречу совместной благодати, думал он. И поскольку сегодня вечером кто-то мертв, и лишь кружение способно утишить их скорбь.

Он в это верил. Пытался вообразить некую бестелесность. Думал о том, что кружащиеся танцоры тают, переходят в текучие состояния, в вихрящуюся жидкость, кольца воды и тумана, который рано или поздно исчезает в воздухе.

Эрик заплакал, когда мимо проехала замыкающая группа безопасности — полицейский фургон и несколько машин без опознавательных знаков. Плакал неистово. Колотил себя, скрещивал руки и бил себя в грудь кулаками. Следом ехали автобусы с прессой — три штуки, — шли пешие неофициальные плакальщики, многие напоминали паломников — всех рас и разновидностей верований, манер одеваться, — а он раскачивался и рыдал, пока мимо проезжали машины скорбящих, импровизированный континуум, восемьдесят, девяносто машин в произвольных порядках.

Плакал он по Феску и всем, кто были здесь, ну и, конечно, по самому себе, безоговорочно капитулируя перед сотрясавшими все тело рыданиями. Поблизости плакали и другие. Прокатилась волна биения себя в грудь и молотьбы руками. Затем Козмо обернул его ручищей и притянул к себе. Это вовсе не казалось странным. Человек умирает — ты плачешь. Чем значительнее фигура, тем шире ламентации. Люди рвут на себе волосы, стенают имя покойного. Эрик медленно затих. В коже и плоти всеохватной туши Козмо он ощутил зарождение созерцательного принятия.

От этих похорон он желал еще одного. Он хотел, чтобы мимо вновь проехал катафалк с телом, поставленным почти на попа для всеобщего обозрения, цифровой труп, петля, репродукция. Как-то неправильно, что катафалк взял и уехал. Эрику хотелось, чтобы он через какой-то интервал возникал вновь, тело гордо выставлено в ночь — восполнить печаль и изумление толпы.

Он устал смотреть на экраны. Плазменные панели недостаточно плоски. Раньше казались плоскими, а теперь нет. Он смотрел, как президент Всемирного банка обращается к палате напряженных экономистов. Ему казалось, что изображение может быть и четче. Затем из своего лимузина по-английски и по-фински заговорил президент Соединенных Штатов. Финский он немного знал. Эрик его за это ненавидел. Он знал, что рано или поздно все вычислят, как он повлиял на происходящее — один человек, ныне — скорбящий и усталый. Он кодом отправил экраны в свои люки и стойки, вернул интерьер салона к его естественной масштабности, когда зрительные оси ничем не перекрыты, а его собственное тело изолировано в пространстве, и почувствовал, как в его иммунной системе зарождается чих.

Улицы быстро пустели, заграждения грузили в кузова и увозили. Теперь машина ехала, Торваль сидел впереди.

Эрик чихнул и тут же ощутил какую-то незавершенность. Осознал, что всегда чихал дважды — ну или так ему в ретроспективе казалось. Эрик подождал, и он пришел — как награда, этот второй чих.

Отчего люди чихают? Защитный рефлекс слизистых оболочек носа, чтобы изгнать чужеродную материю.

Улица была мертва. Машина проехала мимо испанской церкви²⁴ и кучки темных городских особняков в лесах. Эрик налил себе бренди и понял, что снова хочет есть.

Впереди был ресторан — на южной стороне улицы. Эрик заметил, что эфиопский, и вообразил, как кусок пористого бурого хлеба возят по чечевичной подливке. Вообразил маринованного ягненка в берберском соусе из красного перца. Уже поздно, там закрыто, но с кухни пробивался тусклый свет, и Эрик велел шоферу остановиться.

Ему хотелось ягненка. Хотелось произнести «uebeg wat», понюхать и съесть.

То, что случилось дальше, произошло быстро. Он ступил на тротуар, и к нему подбежал человек и ударил его. Он поднял руку, защищаясь. Эрик не прозевал, слишком поздно, и двинул вслепую, может, задел по голове или по плечу. Ощутил слякоть, какую-то кашу из крови и плоти у себя на лице. Видеть он не мог. Глаза ему залепило этой дрянью, но поблизости он слышал Торваля — хруст и хрюканье оттуда, где сцепились двое.

Он вынул из кармана платок и встал на бордюре, вытирая лицо — осторожно, вдруг ему повредили глазное яблоко. Смог разглядеть: Торваль загнул человека на багажник лимузина, заведя руку ему за голову.

— Объект обезврежен, — сказал Торваль себе в лацкан.

Эрик ощутил запах и вкус чего-то. Для начала — сам платок, испорченный секретами его яичек, семенных пузырьков и разных прочих желез, собравшимися за день, когда этим квадратиком ткани он чистился от того или иного испускания телесных жидкостей. Но вкус на языке смущал его.

Человек — объект — что-то говорил, а поблизости лучились какие-то вспышки, но выстрелов не раздавалось. Торваль отодрал человека от багажника и пихнул к Эрику, тут же ловко закинув ему голову назад.

— Я за вами давно охочусь. Сукин сын, — сказал тот. — Хорошо я вам вмазал.

Теперь Эрик увидел справа трех фотографов и человека, с колен снимавшего на видео. Их машина стояла с распахнутыми дверцами.

— Сегодня вас кремировал мастер, — говорил тот. — Такова моя всемирная миссия. Саботировать власть и богатство.

До Эрика стало доходить. Перед ним стоял Андре Петреску, кондитерский террорист, который отслеживает директоров корпораций, военачальников, звезд футбола и политиков. И залепляет им в физиономии пирожными. Он так ослеплял глав государств под домашним

²⁴ Центральная Манхэттенская испанская церковь адвентистов седьмого дня, расположена по адресу Западная 57-я улица, 422.

арестом. Нападал на военных преступников и судей, которые выносили им приговоры.

— Я три года этого ждал. Только свежая выпечка. Я от президента США отказался, чтобы нанести этот удар. Его я кремирую когда угодно. А вы — это громкое заявление, точно могу сказать. Очень трудно прицелиться.

Парень был невелик ростом, волосы высвечены до блеска, в футболке «Мира Диснея». В голосе его Эрик заметил нотку восхищения. Тщательно пнул его по яйцам и посмотрел, как он дергается и оседает в хватке Торваля. Когда запыльхали вспышки, он кинулся на фотографов — кому-то засветил, с каждым ударом чувствуя себя лучше. Троица обратилась в бегство, запуталась в шеренге мусорных баков, затем пустилась наутек по улице. Видеооператор удрал в машине.

Эрик вернулся к лимузину, горстью смахивая взбитые сливки с лица и суя их в рот — снежный крем с лимонным привкусом. Теперь их с Торвалем объединяло насилие, они обменялись взглядами уважения и почтения.

Петреску корчился от боли.

— Вам недостает чувства юмора, мистер Пэкер.

Эрик заехал ему обеими руками в живот так, что он отскочил от груди Торваля. Снова заговорил он не сразу.

— Репутацию свою подтверждаете, ладно. Но охрана меня била и пинала столько, что я уже ходячий мертвец. В Англии на меня надевают радиоошейник, чтобы уберечь королеву. Следят, как за редким журавлем. Но прошу вас — поверьте одному. Я кремировал Фиделя за шесть дней три раза, когда он в прошлом году приезжал в Бухарест. Я активный живописец пирожными с кремом. Как-то раз я обрушился с дерева на Майкла Джордана.²⁵ То было знаменитое Летучее Пирожное. Это музейное видео, на века. Я вlepил султану, блядь, Брунея кишем, когда он у себя ванну принимал. Меня сунули в черный карцер на столько, что у меня сами глаза на крик изошли.

Они смотрели, как он ковыляет прочь. Ресторан был заперт и пуст, и они стояли в тиши мгновения. Взбитые сливки липли к волосам, набились в уши. На одежде потеки крема и кляксы лимонного пирожного. Эрик ощущал царапину на лбу — от фотоаппарата, которым один человек размахивал для самообороны. Эрик хотел помочиться.

Ему было здорово. Он обхватил сжатый кулак другой рукой. Отлично, саднит, быстро и жарко. Тело шептало ему. Все гудело от схватки, от броска на фотографов, от ударов, которые он наносил, приток крови, биенье сердца, великая разбросанная красота переворачивающихся мусорных баков.

Он опять держал мир за яйца.

Темные очки он нашел в ведерке для шампанского и сунул в карман рубашки. Снаружи что-то стукнуло — отскочил мяч. Он собирался было подать шоферу сигнал ехать дальше, когда услышал прерывистый тяжкий шмяк баскетбольного мяча, ошибиться невозможно. Вышел из машины и направился на северную сторону улицы, где располагалась площадка. Всмотрелся сквозь две изгороди и увидел пару ребятишек — они присели и рычали друг на друга, соревнуясь один на один.

Первая калитка была заперта. Эрик перелез через ограждение из острых железных прутьев не колеблясь. Вторая тоже оказалась на запоре. Он перелез и через сетку, вдвое выше него. Перевалялся на другую сторону, а Торваль следовал за ним, от одной ограды к другой, ни слова не говоря.

Они зашли в дальний конец сквера и стали смотреть, как парнишки сражаются — играют в тени и сумраке.

— Играешь?

²⁵ Майкл Джеффри Джордан (р. 1963) — американский профессиональный баскетболист и крупный предприниматель.

- Немного. Не очень моя игра, — сказал Торваль. — Регби. Вот это по мне. Вы?
- Немного. Мне нравилось, что происходит на трапеции. Теперь качаюсь.
- Вы, конечно, понимаете. Вас по-прежнему кто-то отслеживает.
- Там до сих пор кто-то есть.
- То был мелкий инцидент. Взбитые сливки. Технически незначителен.
- Понимаю. Осознаю. Конечно.

Они играли всерьез, эти детки, хлопали друг друга по рукам, громко били с отскока, хрипло кричали.

- В следующий раз никаких пирожных.
- Десерт уже подали.
- Он где-то там и вооружен.
- Он вооружен, и ты вооружен.
- Это правда.
- Тебе придется применить оружие.
- Это правда, — сказал Торваль.
- Дай посмотреть.
- Дать посмотреть. Ладно. Чего ж нет? Платили вы.

Двое пошмыгали носом, вялый гнусавый смешок.

Торваль вытащил оружие из-под полы пиджака и передал Эрику — симпатичный агрегат, серебристый и черный, ствол четыре с половиной дюйма, ореховые накладки.

- Изготовлен в Чешской Республике.
- Красивый.
- И умный. До жути умный.
- Распознавание голоса.
- Точно, — сказал Торваль.
- Ты что. Говоришь, и он твой голос понимает.
- Точно. Механизм не активируется, пока сонограмма не совпадет с заложенными данными. Совпадает только мой голос.

— А перед тем, как стрелять, нужно говорить по-чешски?

Торваль широко улыбнулся. Эрик впервые видел, как он улыбается. Свободной рукой достал из кармана рубашки очки и растряхнул дужки.

- Но голос — лишь часть процедуры, — сказал Торваль, после чего маняще умолк.
- Говоришь, еще и код имеется.
- Запрограммированный голосовой код.

Эрик надел очки.

— Что за код?

На сей раз Торваль улыбнулся конфиденциально, затем посмотрел в глаза Эрику, который уже направил пистолет.

— Нэнси Бабич.

Эрик выстрелил. В глазах Торваля вспыхнул белый ужас недоверия. Эрик выстрелил только раз, и человек упал. Из него вытекла вся властность. Он выглядел глупо и растерян.

В двадцати ярдах от них баскетбольный мяч перестал подпрыгивать.

У него была масса, но не было потока. Это ясно — он лежал и умирал. Мяч упал на землю и медленно катился. Эрик махнул им — мол, играйте себе дальше. Ничего значительного не произошло, с чего им переставать.

Он швырнул пистолет в кусты и пошел к сетчатой ограде.

Не распахивались окна, не кричали встревоженные голоса. У пистолета не было глушителя, но прозвучал лишь один выстрел, а людям, наверное, нужно услышать три, четыре, а то и больше, чтобы проснуться или оторваться от телевизора. Обычная ночная мимолетность, вроде кошачьей свадьбы или автомобильного выхлопа. Даже если знаешь, что это не выхлоп, потому что это никогда не выхлоп, тебя не колет совесть — если только явная пальба не повторяется, если никто никуда не бежит. В густой возне квартала, если живешь

так невысоко над улицей, где шум стоит все время, а твоя персональная городская анония тоскливо идет вразнос — не станешь же реагировать на любой блям.

К тому же выстрел раздражал гораздо меньше, чем стук баскетбольного мяча. Если выстрел положил конец игре, будем благодарны за милости под светом луны.

Эрик неуволимо приостановился, подумав, что за пистолетом надо бы вернуться.

Его он швырнул в кусты, потому что хотел, чтобы случилось то, чему суждено случиться. Пистолеты — маленькие практичные вещи. Ему хотелось доверять власти предопределенных событий. Действие совершено, пистолет больше не нужен.

Он перелез сетку, порвав карман брюк.

Пистолет выбросил опрометчиво, но как же здорово это было. Нет человека — нет и пистолета. Теперь поздно передумывать.

Он свалился наземь и двинулся к железной ограде.

Ему не было интересно, кто такая Нэнси Бабич, и он вовсе не думал, что выбор кода Торвалем как-то очеловечивает его телохранителя или требует запоздалых сожалений. Торваль — его враг, угроза его себялюбию. Когда платишь человеку за то, чтобы он не давал тебе умереть, человек приобретает психическое превосходство над тобой. Такое самовыражение Эрика — функция достоверной угрозы и утраты компании и состояния. Кончина Торваля расчистила ночь для более глубокой конфронтации.

Он перемахнул железную ограду и пошел к машине. На углу играл на саксофоне кто-то из прошлого века.

Исповедь Бенно Левина **Утро**

Теперь я живу в офлайне. Я весь оголен. Пишу это за железным столом, который заволок по тротуару и в дом. У меня есть велотренажер — одной ногой я кручу педаль, другой имитирую.

Я собираюсь совершить публичный акт всей своей жизни посредством этих страниц, которые напишу. Это будет духовная автобиография, которая достигнет тысячи страниц, и сердцевиной работы станет тот факт, что я его либо выслежу и пристрелю, либо нет, всё карандашом от руки.

Пока у меня была работа, я держал мелкие счета в пяти крупных банках. От названий крупных банков в уме захватывает дух, а отделения их есть по всему городу. Бывало, я ходил в разные банки или разные отделения одного банка. У меня бывало так, что я ходил из одного отделения в другое до самой ночи, перемещал деньги со счета на счет или просто проверял баланс. Вводил коды, изучал цифры. Машина ведет нас пошагово. Машина спрашивает: Так правильно? Она учит нас мыслить логическими блоками.

Я был непродолжительно женат на женщине-инвалиде с ребенком. Смотрел, бывало, на ее ребенка, который только-только ходить начал, и думал, что провалился в яму.

Тогда я преподавал и читал лекции. «Читал» — не то слово. В уме я скакал с предмета на предмет. Я не хочу писать такое, где отбарабаниваю биографию, родителей и образование. Я хочу подняться от слов на странице и что-нибудь сделать — кому-нибудь сделать больно. Это во мне есть, делать кому-нибудь больно, а я не всегда знал. Само действие и глубина писания мне подскажут, способен я на такое или нет.

Если честно, мне нужно ваше сочувствие. Скудную свою наличку я каждый день трачу на воду в бутылках. Это пить и мыться. Я устроил себе туалет, хожу в заведения, где торгуют навынос, а воды мне в здании без воды, отопления и электричества не хватает, если не обеспечу.

Мне трудно общаться с людьми непосредственно. Раньше я говорил правду. Но не лгать трудно. Я лгу людям, потому что это мой язык, это как я разговариваю. Это температура в голове того, кто я есть. Я не адресую свои замечания тому, с кем говорю, а пытаюсь промахнуться или смахиваю взглядом, так сказать, замечание у него с плеча.

Через некоторое время меня это стало удовлетворять. Никогда не было во мне этого — говорить со смыслом. Даже необязательная ложь — еще один способ создать личность. Это я сейчас вижу ясно. Никто бы не помог мне, кроме самого меня.

Я все время смотрел потоковое видео с его веб-сайта. Часами смотрел и, с хорошей точностью, днями. Что он говорил людям, как резко поворачивался в кресле. Он считал, что кресла по большей части глупы и унижают человеческое достоинство. Как он плавал, когда плавал, ел еду, играл перед камерой в карты. Как он тасовал колоду. Хотя я и работал в той же штаб-квартире, на улице я дожидался посмотреть, как он выходит из здания. Хотелось точно засечь его в уме. Важно было знать, где он — даже на единственный миг. От этого в моем мире наступал порядок.

Все равно это было не вранье. Не ложь — по большинству, просто отклонения от тела слушателя, от его или ее плеч, либо совсем промахи.

Говорить с человеком прямо было невыносимо. Однако на этих страницах я выпишу свой путь к правде. Верьте мне. Меня деноминировали до меньшей валюты. Я пишу, чтобы замедлить свой рассудок, но протечки случаются.

Теперь я храню деньги только в одном месте, ибо в финансовом отношении низведен до нуля. Это маленький банк, внутри всего одна машина, а одна снаружи, в стене. Я пользуюсь уличной, потому что в банк меня не пускает охранник.

Я мог бы сообщить ему, что у меня есть счет, и доказать это. Но банк — это мрамор, стекло и вооруженная охрана. И я это принимаю. Мог бы сказать, что мне нужно проверить Последние Операции, хотя их там и нет. Но я не прочь совершать свои транзакции снаружи, у машины в стене.

Каждый день мне стыдно, а на следующий день еще стыднее. Но остаток жизни я проведу в своем жилом пространстве, делая эти заметки, ведя этот дневник, записывая свои поступки и размышления, отыскивая здесь некую честь, некую ценность в основе всего. Я хочу десять тысяч страниц, от которых остановится мир.

Позвольте сказать. Я подвержен глобальным тяготам болезни. У меня случается «сусто»²⁶ — это более-менее потеря души, пришло с Карибов, я им заразился через Интернет незадолго до того, как жена забрала ребенка и ушла от меня, ее снесли по лестнице братья, нелегальные иммигранты.

С одной стороны, это домыслы и миф. С другой — я этому заболеванию подвержен. В данную работу войдут описания моих симптомов.

Он всегда впереди, думает дальше всего нового, и у меня есть соблазн этим восхититься, вечно спорит с тем, что вы и я считаем великими и надежными дополнениями к нашей жизни. У него в руках все нетерпеливо изнашивается. В уме я его хорошо знаю. Он хочет на цивилизацию опережать ту, в которой мы.

Раньше я держал рулончик купюр в синей резинке со штампом «Калифорнийская спаржа». Эти деньги теперь вышли в оборот, передаются из руки в руки, без санации. У меня есть велотренажер — я нашел его как-то ночью, без одной педали.

Я дал секретное объявление: нужен подержанный пистолет, — и тайно и незаметно купил его, когда выходил онлайн и еще имел работу, но едва, зная, что близок день, он непредсказуем, его трудовые навыки отсыхают, что видно по их лицам, несмотря на весь юмор и пафос владения таким замысловатым оружием персоной вроде меня.

Я вижу презрительную иронию и ничтожество того, что иногда делаю. И мне это почти что может нравиться — на уровне беспомощности.

Моя жизнь больше не моя. Но я и не хотел такого. Я смотрел, как он завязывает галстук, и знал, кто он. В зеркале ванной у него был дисплей, сообщавший ему температуру тела и кровяное давление в данный момент, его рост, вес, частоту сердечных сокращений,

²⁶ Культуроспецифичное расстройство, распространенное среди испаноговорящего населения в Центральной и Южной Америке, начинается с переживания сильного страха, вслед за которым наступает потеря веса и аппетита, появляется бледность, усталость, вялость, неопрятность и сильная жажда.

пульс, необходимые медикаменты, всю историю болезни лишь по одному его лицу, а я был его человеческим сенсором — читал его мысли, познавая человека по его разуму.

Сообщает тебе рост на тот случай, если за ночь ты стоптался, что может произойти анаболически.

Сигареты не входят в характеристику того человека, которым вы считаете меня. Но я курильщик яростный. Мне очень нужно то, что мне нужно. Я не читаю ради удовольствия. Моюсь не часто, поскольку не по карману. Одежду покупаю в «Вэлью-Драгз».²⁷ В Америке так можно — одеваться с головы до пят в аптеке, я тихо этим восторгаюсь. Но каковы бы ни были разнообразные факты, я не так уж сильно отличаюсь от вас с вашей внутренней жизнью, в том смысле, что все мы неуправляемы.

Они снесли ее по лестнице в инвалидном кресле вместе с деткой. Я утратил ориентацию в голове. Может, вам доводилось видеть пики на лгущем полиграфе. Такова и у меня иногда волна мысли, если я думаю, как мне на это реагировать. Я оставил преподавание, чтобы сделать себе миллион. Тогда было правильное время и прилив²⁸ для этого. Но затем я ощутил себя обделенным — сижу на рабочем месте, и все. Как будто меня туда вставили, личность без права выбора, хотя выбор там быть я сделал сам, а он не подходил ближе, чем на расстояние подслушивания.

Я двойственно отношусь к его убийству. От этого я стану вам менее интересен — или более?

Я не из тех, о кого вытирают ноги, на кого вы стараетесь не смотреть, когда проходите некими улицами. Я на них тоже не смотрю. Я сношу стены в своем жилом пространстве — это задача не на одну неделю, и я уже почти выполнил ее. Воду в бутылках я покупаю в мексиканской продуктовой лавке дальше по улице. Там два продавца или хозяин и продавец, и оба они говорят: «Не вопрос». Я говорю: «Спасибо. Не вопрос».

Маленьким, бывало, я лизал монеты. Рифление по ободу обыкновенной монетки. Называется «гурт». Я их до сих пор лижу иногда, но грязь, забивающаяся в гурт, меня беспокоит.

Но отнять у другого человека жизнь? Вот и видение нового дня. Наконец я решился действовать. Историю делает и все, что было прежде, меняет лишь насильственное действие. Но как вообразить такой миг? Не уверен, что способен дойти до точки даже ментального действия — два безликих человека в текучих разноцветных одеждах.

А как мне его найти для того, чтобы убить — не говоря уже о том, чтобы прицелиться и выстрелить? Вопрос поэтому чисто академический, этот компромисс.

Когда я плачу монетами, меня охватывают мелкие одержимости — неловко верчу в руках, обсчитываюсь.

Но как же мне жить, если он не мертв? Он может быть покойным папой. На это можно надеяться. У него можно взять сперму, потом пятнадцать месяцев ее морозить. А потом дело простое — оплодотворить его вдову или мамашу-доброволку. И в его форму и плоть вырастет другое существо, а мне будет что ненавидеть, когда он повзрослеет и станет мужчиной.

Люди думают о том, кто они, в самый тихий час ночи.²⁹ Я несу в себе эту мысль, детский секретик и ужас этой мысли, ощущаю эту огромность в своей душе всякую секунду своей жизни.

У меня есть железный стол, который я тащил три лестничных пролета вверх, с веревками и клиньями. У меня есть карандаши, которые я точу картофельным ножом.

²⁷ Сеть аптек в Вестчестере, Манхэттене и на Лонг-Айленде, основана в 1971 г.

²⁸ Отсылка к английской поговорке «Время и прилив никого не ждут», впервые записанной в 1225 г.

²⁹ «Самый тихий час» — 44-я глава книги Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра» (1885), пер. Ю. М. Антоновского под редакцией К. А. Свасьяна.

Вот мертвые звезды, что сияют до сих пор, поскольку свет их попал в ловушку времени. Где стою я в этом свете, который, говоря строго, не существует?

4

Лимузин под фонарем поражал зрение — битый, как в комиксе, машина в квадратике с текстом от автора, она чувствует и говорит. Горели «оперные огоньки»,³⁰ по дюжине с каждого борта, четверками расположенные между окнами. Шофер стоял у задней дверцы, держал ее открытой. Сразу Эрик садиться не стал. Остановился и посмотрел на шофера. Никогда такого раньше не делал, и разглядел он мужчину не сразу.

Мужчина был худ и черен, среднего роста. Лицо продолговатое. Один глаз у него — левый — было трудно отыскать под сильно провисающим верхним веком. Виднелся только нижний обод радужки, но и он в углу перекрывался. Очевидно, человек с историей. В белке глаза — вечерние прожилки, будто кровавое солнце. У него в жизни всякое бывало.

Эрику понравилось, что человек с опустошенным глазом зарабатывает на жизнь тем, что водит машину. Его машину. Так даже лучше.

Он вспомнил, что ему нужно отлить. Отлил в машине, ссутулившись, и посмотрел, как писсуар сворачивается в свой чехол. Он не знал, что творится с отходами. Может, сливаются в бак где-то под днищем автомобиля или сбрасываются прямо на улицу в нарушение сотни уложений.

Горели противотуманные фары. Река всего в двух кварталах, влачит свою каждодневную инвентарную опись химикатов и случайного мусора, плавучих бытовых предметов, изредка попадает тело — с расколотым черепом или застреленное, — и все это прозаично призрачит к югу, к самому кончику острова и устью моря за ним.

Зажегся красный. Впереди по авеню почти не ехали, и Эрик сидел в машине и сознавал, как это любопытно — он согласен ждать не менее шофера лишь потому, что свет одного цвета, а не другого. Однако он не блюл условий общественного договора. Пребывал в терпении, только и всего, ну и, может, был задумчив, раз остался теперь смертельно одинок, ни одного телохранителя.

Машина пересекла Десятую авеню и проехала мимо первой продуктовой лавки, затем — мимо пустой стоянки грузовиков. Эрик увидел две машины, запаркованные на тротуаре, укутанные драным синим брезентом. Там была бродячая собака — какая-нибудь тощая серая псина всегда роется мордой в скомканных газетах. Мусорные баки здесь из мягкого металла — отнюдь не облагороженные резиновые изделия на улицах к востоку, а кроме того мусор навален в открытые коробки и лежит разбросанный веером из перевернутой продуктовой тележки. Эрик ощущал, как нисходит тишина — отсутствие, не связанное с настроением улицы в этот час, и тут машина миновала вторую продуктовую лавку, и он увидел бастионы над рельсами, что бежали ниже уровня улицы, гаражи и авторемонтные мастерские, задраенные на ночь, стальные шторы размечены граффити на испанском и арабском.

На северной стороне улицы была парикмахерская — выходила на ряд старых кирпичных жилых домов. Машина остановилась, а Эрик сидел, думал. Сидел пять минут, шесть. Потом дверца скрипнула — на тротуаре стоял шофер и заглядывал внутрь.

— Мы здесь, — наконец сказал он.

Эрик встал на тротуаре, глядя на здания через дорогу. Посмотрел на средний дом в ряду из пяти и ощутил одинокую дрожь; четвертый этаж, окна темные, на пожарной лестнице никаких растений. Здание мрачно. То была мрачная улица, но раньше люди здесь жили шумной тесной компанией — в комнатках-пеналах, счастливые, как где угодно, подумал он, да и теперь живут, и теперь счастливы.

³⁰ «Оперными» называются прямоугольные вытянутые светоиндикаторы, установленные снаружи между средней и задней стойками кузова у некоторых моделей американских автомобилей.

Здесь вырос его отец. Бывали времена, когда Эрика подмывало сюда приехать, пусть улица подышит на него. Ему хотелось почувствовать это, каждый горестный оттенок томления. Но не его это было томление, или желание, или память прошлого. Он для таких переживаний слишком молод, да и вообще не приспособлен, ни дом, ни улица никогда и не были его. Он чувствовал то, что чувствовал бы его отец, стоя на его месте.

Цирюльня была закрыта. Эрик знал, что в этот час так и будет. Он подошел к двери и увидел, что в глубине горит свет. Так и надо, каков бы ни был час. Постучал и подождал, и сквозь сумрак вышел старик — Энтони Абудато, в рабочем наряде: полосатая белая куртка с коротким рукавом, мешковатые штаны, кроссовки.

Эрик знал, что он скажет, не успел старик открыть дверь.

— А чего это не заходишь теперь, совсем чужой стал?

— Здравствуй, Энтони.

— Давно не виделись.

— Давно. Мне надо подстричься.

— Выглядишь, как что. Заходи, посмотрю хоть на тебя.

Он щелкнул выключателем и подождал, пока Эрик расположится в единственном оставшемся кресле. В линолеуме на месте второго зияла дыра, и было еще игрушечное кресло для детишек — до сих пор стояло, зеленая машинка с красным рулем.

— Никогда таких крысиных волосенок на человеке не видал.

— Сегодня утром проснулся и понял, что пора.

— Ты знал, куда прийти.

— Я сказал себе. Хочу подстричься.

Старик стянул солнечные очки с головы Эрика и положил на полку под зеркалом шириной во всю комнату, сначала проверив, не осталось ли на них отпечатков и пыли.

— Может, сначала поешь чего-нибудь.

— Мог бы что-нибудь и поесть.

— В холодильнике что-то из навывнос, я поклевываю, когда охота.

Он зашел в заднюю комнату, и Эрик огляделся. Со стен облезала краска, обнажая пятна розовато-белой штукатурки, а потолок местами потрескался. Отец привел его сюда много лет назад — впервые, и тут, наверное, тогда было получше, хоть и ненамного.

Энтони стоял в дверях с белой картонкой в каждой руке.

— Так ты женился на этой.

— Ну да.

— Что денег у ее родни невесть. Никогда не думал, что ты так рано женишься. Но что я вообще понимаю? У меня нут толченый есть и баклажан, фаршированный рисом и орехами.

— Давай баклажан.

— Бери, — сказал Энтони, но не двинулся с места, остался в дверях. — Он быстро погас, как только нашли. Только диагностировали — тут же сгорел. Сегодня еще со мной разговаривал, а завтра его уже и нет. Я так это и помню. У меня еще баклажан есть, там лимон с чесноком намешаны, если хочешь вместо попробовать. Диагноз-то ему в январе поставили. Как нашли, так и сказали. А матери твоей он говорить не стал, пока не припекло. К марту его уже не стало. А я помню — день-два прошло. Два дня от силы.

Эрик уже не раз это слышал, и старик почти всегда излагал теми же словами, с вариациями на злобу дня. Этого от Энтони ему и требовалось. Тех же слов. Календаря нефтяной компании на стене. Зеркала, которое давно пора посеребрить.

— Тебе четыре годика было.

— Пять.

— Ну да. Мозгами-то у вас матушка была. Ты в нее такой башковитый. У матери твоей была мудрость. Он сам так говорил.

— А ты. Ты-то как, ничего?

— Ты ж меня знаешь, парнишка. Мог бы сказать, что не жалею. Но определенно мог бы и пожаловаться. А не хочу.

Он сунулся в комнату — одним торсом, старой щетинистой головой и бледными глазами.

— Потому что времени нету, — сказал он.

Немного погодя он прошаркал к полке перед Эриком и поставил картонки, а из нагрудного кармана достал две пластмассовые ложки.

— Дай-ка подумаю, чего же нам тут выпить. Есть вода из-под крана. Я теперь пью воду. И есть бутылка ликера, который стоит тут столько, что не спрашивай.

Он остерегался слова «ликер», еще как остерегался. Все слова, что он говорил, он говорил всегда и всегда будет говорить, кроме вот этого одного слова, от которого нервничал.

— Я мог бы тяпнуть.

— Хорошо. Потому как если б сюда зашел самолично твой папаша, и я б ему предложил воду из-под крана, боже упаси, он бы мне последнее кресло с мясом выдрал.

— И может, мы шофера моего пригласим. У меня шофер в машине.

— Можно ему второй баклажан дать.

— Хорошо. Это будет славно. Спасибо, Энтони.

Они почти доели, сидя и беседуя, Эрик и шофер, а Энтони стоял и беседовал. Он нашел ложку шоферу, и эти двое пили воду из разрозненных кружек.

Шофера звали Ибрагим Хамаду, и выяснилось, что они с Энтони оба некогда водили по Нью-Йорку такси, только в очень разные годы.

Эрик сидел в парикмахерском кресле и наблюдал за шофером, который не снял пиджак и не ослабил галстук. Он устроился на складном стуле спиной к зеркалу и степенно черпал ложкой еду.

— Я шашечки водил. Большие, тряские, — рассказывал Энтони. — По ночам калымил. Молодой был. Что мне сделают?

— По ночам не очень хорошо, если у тебя жена с ребенком. А кроме того, я вам так скажу — днем и без того дурдом на улицах.

— Я свою тачку любил. По двенадцать часов баранку вертел без передышки. Останавливался только отлить.

— Мужика однажды другое такси сбило. И он влетает ко мне, — рассказывал Ибрагим. — Буквально по воздуху влетает. Хрясть в ветровое стекло. Прямо мне в рожу. Кровищи везде.

— Я из гаража ни разу не выезжал без «Виндекса», — сказал Энтони.

— Ну а я в прежней жизни был и. о. министра иностранных дел. Я ему говорю: «Слезай оттуда. Я ехать не могу, ты мне весь обзор загородил».

Эрик никак не мог отвести взгляда от левой стороны его лица. Провалившийся глаз Ибрагима прямо-таки по-детски завораживал его, даже не стыдно пялиться. Глаз вывернут прочь от носа, а бровь прочерчена прямо и приподнята. Веко пересекал вздутый рубец. Но даже если оно закрывалось полностью, глазное яблоко остаточнo шевелилось — там кипели белок и кровавые крапинки. Глаз жил какой-то своей жизнью, у него был собственный нор, отчего хозяин его казался расколот надвое, будто в нем жило тревожное иное я.

— Обедал прямо за баранкой, — говорил Энтони, взмахивая картонкой. — Бутерброды в фольге.

— Я тоже за рулем. Останавливаться на обед мне было не по карману.

— А где ты отливал, Ибрагим? Я под Манхэттенским мостом.

— Так и я точно там же.

— В скверах и переулках отливал. Однажды на кладбище домашних животных.

— По ночам в каком-то смысле лучше, — говорил Ибрагим. — Я в этом уверен.

Эрик слушал их будто издалека — его клонило в сон. Ликер он пил из поцарапанной стопки. Доев, положил ложку в картонку, а ту аккуратно поставил на ручку кресла. У кресел есть ручки и ножки, которые следует называть как-то иначе. Эрик откинул голову и прикрыл

глаза.

— Я тут сколько бывал, — говорил Энтони. — Часа четыре в день, помогал отцу волосы стричь. А по ночам калымил. Я тачку свою любил. У меня там и свой вентилятор стоял от батарейки, потому что какие в те дни и в том веке кондиционеры, и думать забудь. И кружка с магнитом была, я ее к доске цеплял.

— А у меня руль был обит, — говорил Ибрагим. — Очень красивая обивка, под зебру. А на козырьке — дочка, снимок ее.

Со временем голоса слились в единственный гласный — в него он и сбежит, через этот хриплый коридор прочь из долгого морока бессонницы, что окутывал столько ночей. Эрик начал гаснуть, отключаться, а где-то во тьме дрожал вопрос.

Что проще, чем уснуть?

Сначала он услышал, как кто-то жует. Тут же понял, где он. Потом открыл глаза и увидел себя в зеркале, а вокруг громоздится комната. Задержался взглядом на отражении. Там, где в глаз попало коркой пирожного, он заплывал синяком. На лбу ссадина от камеры набухла тутовым струпом. Он рассмотрел пенящуюся шапку волос, вздыбленных и перепутанных, в некотором смысле внушительную, и сам себе кивнул, обозревая всё, полностью лицо, вспоминая, кто он.

Парикмахер и шофер ели один десерт на двоих — выпечку из тонких коржей, уснащенную медом и орехами, у каждого в ладони по квадрату.

Энтони смотрел на него, но разговаривал с Ибрагимом — или с ними обоими, говорил стенам и креслам.

— Этого парня я впервые подстриг. В машинке никак сидеть не хотел. Папаша его туда пытался впихнуть. А он: «Нет-нет-нет-нет». Поэтому я его посадил туда, где он сейчас сидит. И папаша его прижал, — говорил Энтони. — И отца его стриг, когда он был мальчишкой. А потом и его стриг вот.

Он разговаривал сам с собой — с тем человеком, которым был когда-то, в руке ножницы, обкорнал миллион голов. А поглядывал на Эрика, который знал, что будет дальше, и ждал.

— Его папаша рос с четырьмя братьями и сестрами. Прямо тут через дорогу и жили. Пятеро детишек, мама, папа, дедуля — все в одной квартире. Ты послушай только.

Эрик слушал.

— Восемь человек, четыре комнаты, два окна, один клозет. Я голос папаши его до сих пор слышу. Четыре комнаты, две с окнами. — Вот такое он любил подчеркивать.

Эрик сидел в кресле, и ему полуснились сцены и колышущиеся лица из отцовского сознания, те, что левитировали в его сне, или краткой грезе, или окончательном морфиевом успокоении, и в них появлялась и исчезала кухня, эмалированная столешница, пятна на обоях.

— Две с окнами, — говорил Энтони.

Он чуть не спросил, сколько проспал. Но ведь люди всегда спрашивают, сколько проспали. А он рассказал им о достоверной угрозе. Доверился им. Хорошо было кому-нибудь поверить. Как-то правильно этот вопрос прояснить в этом конкретном месте, где в воздухе висит прожитое время, пропитывая собой осязаемые объекты и человеческие лица. Здесь ему было безопасно.

Ясно, что Ибрагиму не сообщали. Тот спросил:

— Но где же в этой ситуации начальник службы безопасности?

— Я дал ему отгул на остаток ночи.

Энтони стоял у кассы, жевал.

— Но у тебя же в машине есть защита?

— Защита.

— Защита. Ты не знаешь, что это?

— У меня был пистолет, но я его выбросил.

Ибрагим сказал:

— Но почему?

— Не предусмотрел. Не хотелось строить планы или принимать меры предосторожности.

— Знаешь, на что это похоже? — сказал Энтони. — На что похоже, знаешь? Я-то думал, у тебя репутация. Уничтожать человека в мгновение ока. Но ты, мне кажется, какой-то сомнительный. И это сынок Майка Пэкера? У него был пистолет, но он его выбросил? Это что такое?

— Что это такое? — сказал Ибрагим.

— В этом районе города? И без пистолета?

— Такие меры принимаешь, чтобы оберечься.

— В таких районах? — сказал Энтони.

— Тут и пяти метров потемну не пройдешь. Не будешь осторожен — пришьют в два счета.

Ибрагим смотрел на него. Ровно, издалека, без точки соприкосновения.

— А попробуешь вызывать к голосу их разума, займет чуть дольше. Сначала выпотрошат.

Он смотрел прямо сквозь Эрика. Голос звучал мягко. Шофер вообще был мягким человеком в костюме с галстуком, сидел с пирожным в вытянутой руке, а реплики явно целили в Эрика лично, он уже не про этот город говорил, не про эти улицы, не про обсуждаемые обстоятельства.

— Что у тебя с глазом случилось? — сказал Энтони. — Чего это его так вывернуло?

— Я им вижу. Машину водить могу. Экзамены сдал.

— Потому что у меня оба брата были тренерами у бойцов много лет назад. Но такого я ни разу не видел.

Ибрагим отвернулся. Не станет он поддаваться приливу чувств и воспоминаний. Может, предан своему прошлому. Одно дело обговаривать свой опыт, брать его для справки и как аналогию. Но описывать саму жуть в подробностях чужим людям, чтоб они покивали и забыли, — это ему должно казаться предательством собственной боли.

— Тебя били и пытали, — сказал Эрик. — Военный переворот. Или тайная полиция. Или думали, что тебя казнили. Выстрелили тебе в лицо. Бросили подыхать. Или повстанцы. Захватили столицу. Мели всех госслужащих без разбору. Без разбору били прикладами в лицо.

Он говорил тихо. Лицо Ибрагима чуть заблестело от пота. Выглядел он настороже, наготове — такому научился в каких-нибудь песках еще за семьсот лет до своего рождения.

Энтони откусил пирожное. Они слушали, как цирюльник жует и говорит:

— Я любил свою тачку. Еду глотал, не жуя. По двенадцать часов кряду вертел баранку, одну ночь за другой. Отпуск? И думать забудь.

Он стоял у кассы. Потом вытянул руку и открыл ящик под стойкой, вытащил полотенца для рук.

— А что у меня для защиты?

Эрик его уже видел — на дне ящика лежал старый рябой револьвер.

Они с ним разговаривали. Скалили зубы и ели. Навязывали ему револьвер. Эрик не был убежден, что это имеет смысл. Боялся, что ночь закончилась. Угрозе следовало материализоваться вскоре после того, как рухнул Торваль, но она не проявилась — с того момента и поныне, и Эрик стал думать, что не возникнет уже никогда. Унылейшая перспектива из возможных: там попросту никого нет. Он остался болтаться в подвешенном состоянии, все суетное и весомое размылось в прах за спиной, а впереди — никакой кульминации.

Осталось только подстричься.

Энтони взметнул полосатую накидку. Побрызгал Эрику на голову водой. Теперь разговаривать стало легко. Он долил в стопку самбуки. Затем пощелкал ножницами в

воздухе, для примерки, в дюйме от Эрикова уха. Беседа — как водится в парикмахерской, аренда дорожает, в тоннелях пробки. Эрик держал стопку на уровне подбородка, прижав локоть к боку, осмотрительно потягивая ликер.

А через некоторое время сбросил накидку. Сидеть здесь он больше не мог. Вскочил из кресла, залпом опрокинул стопку, будто виски.

Энтони вдруг стал очень маленьким — расческа в одной руке, ножницы в другой.

— Это чего вдруг?

— Нужно уйти. Не знаю, чего вдруг. Вот так и вдруг.

— Так дай я хотя бы правую сторону достригу. Чтоб ровно было.

Для Энтони это что-то значило. Ясно же — чтоб с обеих сторон было одинаково.

— Я вернусь. Честное слово. Сяду, и ты закончишь.

А шофер вот понял. Ибрагим подошел к стойке и вытащил револьвер. После чего протянул его рукояткой Эрику — на тыльной стороне руки вспыхнула вена.

В лице его читалась какая-то решимость, мрачное упорство: раз я на службе — должен распознавать все жесткое и беспощадное на свете, — и Эрику хотелось как-то соответствовать степенной суровости этого человека, иначе Эрик рискнет его разочаровать.

Он принял у шофера револьвер. Никелированная дрянь. Но он ощущал всю глубину опыта Ибрагима. Пытался что-то разглядеть в его изуродованном глазу, вычислить по налитой кровью полоске под приспущенным веком. Он уважал этот глаз. В нем читалась история, угрюмый фольклор времени и судьбы.

Из люка шел пар — через высокую синюю трубку, привычное зрелище, подумал он, но так красиво, в нем чувствуется странность, непостижимость увиденного свежим взглядом: пар подымается из городской земли, почти как привидение.

Машина подъехала к Одиннадцатой авеню. Эрик сел вперед к шоферу и попросил его отключить все средства связи с комплексом. Ибрагим сделал, как велят. Потом активировал дисплей ночного видения. На ветровом стекле возникла череда тепловизионных изображений — слева внизу, объекты вне досягаемости передних фар. Высветлил кадр с мусорными контейнерами у реки, чуть поднял угол обзора. Включил микрокамеры, следящие за непосредственным периметром автомобиля. Теперь на одном экране в приборной доске можно увидеть, кто подходит к машине с любой стороны.

Эрику все эти возможности казались игрушками — может, пригодится разве что в видеоарте.

— Ибрагим, скажи мне.

— Да.

— Вот эти вытянутые лимузины, которых полно на улицах. Мне непонятно.

— Да.

— Где они паркуются по ночам? Им же много места нужно. Где-то возле аэропортов или в Низинах Нью-Джерси. На Лонг-Айленде, в Нью-Джерси.

— Я поеду в Нью-Джерси. Лимузин останется тут.

— Где?

— В квартале отсюда. Там будет подземная стоянка. Только для лимузинов. Оставлю вашу машину, заберу свою, поеду домой по вонючему тоннелю.

На юго-восточном углу стояла старая фабрика, переоборудованная под жилье, десять этажей, эдакий монолит, потогонное производство позднего средневековья, пожароопасное. Забитые наглухо окна, леса, весь тротуар рядом загорожен. Ибрагим протиснулся машиной чуть правее, стараясь держаться подальше от загорожек. Перед ними выехала машина — автозакусочная, для этого часа нехарактерно, стоит понаблюдать.

Эрик пристроил револьвер под ремень, неудобно. Вспомнил, что поспал. Он бдителен, рвется в бой, жаждет развязки. Что-то вскоре должно произойти, сомнение развеется, проступит некий замысел, план действий объекта, видимый и отчетливый.

Затем вспыхнул свет — прямо впереди, тресь-шшухх, огромные прожекторы с угольными электродами, установленные на треногах и закрепленные на фонарных столбах.

Возникла женщина в джинсах — она махала машине. Весь перекресток был пропитан энергичным светом, ночь вдруг ожила.

Люди переходили улицы, окликали друг друга или говорили в ручные трубки, а водители выгружали оборудование из длинных грузовиков, запаркованных по обе стороны авеню. На заправке через дорогу стояли трейлеры. Человек в фургоне перед ними опустил борт-жалюзи для раздачи еды, и Эрик только теперь заметил тяжелую тележку с закрепленной на ней подвижной стрелой — она медленно выкатывалась на позицию. На дальнем конце стрелы — платформа с кинокамерой, где сидели два человека.

Он не заметил не только операторский кран. Выйдя из машины и встав так, чтобы обзор ему не загораживала автозакусочная, Эрик рассмотрел и готовящуюся сцену.

На улице валялись триста голых людей. Они заполнили весь перекресток и лежали кто как, одни тела наваливались на другие, некоторые ровно, раскинувшись, скорчившись, там были и дети. Никто не шевелился, глаза у всех закрыты. Ничего себе на зрелище наткнулись — город оглушенной плоти, нагота, яркие огни, так много незащитных тел, не поддается определению там, где обычно ходят люди.

Разумеется, контекст есть. Кто-то снимает кино. Тела — голые факты, нагие посреди улицы. У них своя сила, она не зависит ни от каких обстоятельств, сопутствующих событию. Но странная это власть, подумал Эрик, поскольку во всей сцене чувлось нечто робкое и болезненное, что-то замкнутое. Кашлянула женщина, у нее дернулась голова и дрыгнулось колено. Эрик не стал себя спрашивать, мертвых они изображают или же просто без сознания. Ему они показались одновременно грустными и дерзкими, такими голыми в жизни своей ни разу не были.

В группе петляли техники с фотометрами, осторожно перешагивали через головы, переступали раздвинутые ноги, перечисляли номера в ночи, а рядом наготове стояла женщина с хлопушкой — обозначить сцену и дубль. Эрик дошел до угла и протиснулся меж двух покореженных щитов, что отгораживали тротуар. Встал в фанерной конструкции, вдохнул штукатурки и пыли — и снял с себя одежду. Не сразу припомнил, почему у него так болит туловище. Сюда его шарахнули электрошокером — изумительно она выглядела в стробоскопических вспышках высоковольтной дуги, его телохранительница в бронежилете. Где-то посреди члена его по-прежнему остаточное жгло — туда они ему капала водкой.

Он туго обернул брюками револьвер и оставил всю одежду на тротуаре. На ощупь пробрался в темноте, свернул за угол и навалился плечом на щит, пока не забрезжил краешек света. Медленно толкал, слышал, как фанера скребет асфальт, а потом протиснулся в щель и шагнул на улицу. Сделал с десятка младенческих шажков до предела перекрестка и границы падших тел.

И лег среди них. Ощутил под собой текстурное разнообразие комков жвачки, спрессованных десятками лет уличного движения. Понюхал испарения земли — масляные пятна, резиновые полосы заносов, гудрон, расплавленный жаром лета. Он лежал на спине, свернув голову вбок, рука согнута на груди. Телу тут было глупо — жемчужная пена животного жира в каких-то промышленных отходах. Одним глазом он видел, как камера облетает сцену на высоте двадцати футов. Еще готовится общий план, подумал он, а тем временем вокруг крадучись бродила женщина с ручной видеокамерой, снимала на цифру.

Помреж постарше крикнул помрежу помладше:

— Бобби, фиксируй.

На улице все исправно стихло. Смолкли голоса, погасло ощущение, что вокруг шевелятся. Эрик чувал присутствие тел — всех, телесное дыхание, жар и кровотоки, людей, не похожих друг на друга, но похожих теперь, в массе, наваленных на пути, что живых, что мертвых. Они всего лишь статисты в массовой сцене, им велели не двигаться, однако это сильный опыт, до того всеобъемлющий и открытый, что Эрик едва мог мыслить вне его.

— Здрасьте, — произнес кто-то.

Человек совсем рядом, женщина, лежит ничком, вытянув руку, ладонь открыта вверх. Светлая шатенка или буроватая блондинка. Может, это называется русым. Что такое русый?

Светло-коричневый с сероватым или желтоватым оттенком — вплоть до умеренно кирпичного. А может, это называется гнедой. Гнедой лучше звучит.

— Мы должны быть мертвыми?

— Понятия не имею, — сказал он.

— Нам никто не сказал. Как же это раздражает.

— Тогда будьте мертвой.

Голова у нее лежала так, что приходилось говорить в асфальт, слова звучали приглушенно.

— Я нарочно легла неудобно. Что бы с нами тут ни случилось, решила я, это, вероятно, произошло внезапно, и мне хотелось это отразить, придав своему персонажу больше индивидуальности. Одна рука вся болезненно изогнута. Но если менять позу, будет неправильно. Кто-то сказал, вся финансовая система рухнула. Вроде бы за несколько секунд. Денег больше нет. Они сейчас снимают последнюю сцену, а потом все заморозят на неопределенный срок. Значит, потакать себе не время, правильно?

А у Элизы не гнедые волосы? Лица женщины не разглядеть, да и его она не видит. Но он подал голос, и женщина его, очевидно, услышала. Если это Элиза, разве не отреагировала бы на голос мужа? Но с другой стороны — зачем? Это ж неинтересно.

В его позвоночнике отозвался рокот грузовика в отдалении.

— Но я подозреваю, что мы на самом деле не мертвые. Только если мы не секта, — сказала она, — совершившая массовое самоубийство, а я от всей души надеюсь, что это не так.

Раздался звукоусиленный голос:

— Глаза закрыты, народ. Ни звука, не шевелиться.

Начали снимать общий план с крана, камера медленно опускалась, и Эрик прикрыл глаза. Теперь он среди них незрячий, видит кучи тел, как камера, холодно. Они делают вид, что голые, или взаправду голые? Это ему уже неясно. У их кожи много оттенков, но он всех видит черно-белыми — непонятно, почему. Может, сама сцена требует унылого монохрома.

— Мотор, — крикнул еще один голос.

Ему рвало на части ум — он пытался видеть всех здесь и настоящими, вне всякой зависимости от изображения на экране где-нибудь в Осло или Каракасе. Или те места неотличимы от этого? Но к чему вопросы? К чему такое видеть вообще? Они его изолировали. Отвергли его, а ему не такого хотелось. Он желал быть здесь с ними, всетелесным, татуированным, с волосатой жопой, вонять, как они. Желал разместиться прямо посреди этого перекрестка, меж стариков с их вздутыми венами и пигментными пятнами, рядом с карликом, у которого шишка на голове. У этих людей, наверное, изнуряющие болезни — у некоторых, неустрашимых, кожа шелушится. Тут были молодые и крепкие. Он из таких. Из патологически ожиревших, загорелых, накачанных и пожилых. А дети с их добросовестной красотой притворства, такие примерные и тонкококстные. Он такой. Головы некоторых угнездились в чужих телах — на грудях или в подмышках, каким бы кислым ни было предоставленное убежище. А кто-то лежит навзничь, раскинув крылья, раскрывшись небу, гениталии в центре мира. Там была смуглая женщина с маленькой красной отметиной посреди лба — чтоб заметнее. А безногий тоже есть — с перетянутой узловатой культяпкой ниже колена? На скольких телах шрамы после операций? И кто эта девочка в дредах, что свернулась в себя, почти вся затерявшись в волосах, только розовые пальчики на ногах выглядывают?

Эрику хотелось осмотреться, но он не открывал глаз, пока не миновал долгий миг и мягкий мужской голос не выкрикнул:

— Снято.

Он сделал шаг и вытянул руку за спину. В своей ладони почувствовал ее ладонь. Она пошла за ним следом на тротуар за щиты, а там он в темноте повернулся и поцеловал ее, произнес ее имя. Она вскарабкалась на его тело, обхватила его ногами, и они занялись там любовью — мужчина стоя, женщина оседлав его, в каменном смраде сноса и разрушенья.

— Я потерял все твои деньги, — сообщил он.

И услышал, как она рассмеялась. Ощутил спонтанный выдох, в лицо его лизнул спертый воздух. Он и забыл уже наслаждение ее смехом — дымным полукашлем, сигаретным смехом из старого черно-белого кино.

— Я постоянно все теряю, — сказала она. — Сегодня утром — машину. Мы говорили об этом? Не помню.

Вот что это напоминало, следующую сцену черно-белого фильма, который показывают в кинотеатрах всего мира, не по сценарию, его не нужно рефинансировать. После нагой толпы — два любовника отдельно, свободные от воспоминаний и времени.

— Сначала я украл деньги, а потом их потерял.

Она сказала, смеясь:

— Где?

— На рынке.

— Но куда? — сказала она. — Куда они деваются, когда ты их теряешь?

Она лизнула его лицо и пробежалась по всему его телу — и он не смог вспомнить, куда деваются деньги. Она провела языком по его глазу и лбу. Он восторженно приподнял ее повыше и втерся лицом ей в груди. Они прыгали и гудели.

— Что поэты знают про деньги? Люби весь мир да обрисовывай его строкой стиха. А вот не это, — сказала она. — И не это.

Тут она положила руку ему на голову и взяла, схватила за волосы, какая захватывающая хватка, голову ему закинула назад и наклонилась его поцеловать — таким длительным и несдержным поцелуем, с таким жаром бытия, что ему показалось: наконец-то он узнал ее, его Элизу, вот она сопит, тычется языком, кусает его в рот, выдыхает сырые слова и предсмертное бормотание, шепчещелует, лепечет, ее тело спаялось с ним, ноги опоясали, в его ладонях ее жаркие ягодицы.

В тот миг, когда он понял, что любит ее, она соскользнула с его тела и прочь из его объятий. Затем протиснулась в щель между щитами, и он провожал ее взглядом, пока она переходила через дорогу. Там ничто не двигалось. Единственный штрих движения, съемочная группа и статисты разъехались, технику увезли, а она была невозмутимо и серебряно гибка и шла с высоко поднятой головой, технически точно, к последнему трейлеру на станции техобслуживания, где отыщет свою одежду, быстро оденется и исчезнет.

Он одевался в темноте. Ощущал уличную копоть, мелко-наждачную, она колола его в спину и ноги. Пошарил вокруг, ища носки, но не нашел и двинулся на улицу босиком, неся ботинки.

Последний трейлер уехал, перекресток пуст. На сей раз он не стал садиться к шоферу. Ему захотелось в изолированный пробкой салон лимузина, в бронзоватый свет, побыть одному в потоке пространства, отмечая линии и зернь, милые переходы, как эта форма или текстура переходит в ту. В продолговатом интерьере салона чувствовалась атака, текучее движение назад, и Эрик нюхал окружающую его кожу, панели из карандашного дерева впереди, которыми отделали переборку. Под ногой ощущал мрамор, холодный, как кость. Он посмотрел на потолочную фреску — темную размывку тушью, полуабстрактную, изображавшую расположение планет в момент его рождения, расчисленный до часа, минуты и секунды.

Они пересекли Одиннадцатую авеню, углубились в автопустыри. Старые гаражи под слом, облезлые фасады лавок. Ремонт, автомойка, подержанные машины. На вывеске значилось «Столкновение Инкорпорейтед». На тротуаре выстроились раздетые корпуса, хвостами к проезжей части. Последний квартал перед рекой, тут не живут, не ходят, стоянки обнесены колючкой, район как раз для его лимузина в нынешнем состоянии. Эрик обулся. Машина остановилась у въезда в подземный гараж, где она простоит ночь, а то и вечность, либо пока не выселят, не разберут, не сдадут на слом.

Поднялся ветер. Эрик стоял на улице у заброшенного жилого дома, окна заколочены,

железная дверь на засове там, где раньше был вход. Хорошо бы, наверное, раздобыть канистру бензина и поджечь лимузин. Устроить погребальный костер у реки — дерево, кожа, резина и электронные устройства. Здорово будет такое сделать и посмотреть. Это Адская кухня. Сжечь машину до почерневшей развалины из мертвого металла — вот тут, прямо на улице. Но Ибрагима такому зрелищу подвергать не годится.

Ветер с реки дул жестко. Эрик встретился с шофером у борта автомобиля.

— Рано утром можно видеть, прямо тут, бригады в белых комбинезонах, моют. Прямо авторынок лимузинов. Тряпки летают.

Двое обнялись. Затем Ибрагим сел в машину и аккуратно заехал по рампе в гараж. Опустилась стальная решетка. Свою машину он выведет через выезд на другой улице, направится домой.

Почти вся луна была тенью, месяц на убыли, на орбите двадцать два дня, по его оценке.

Эрик стоял посреди улицы. Делать нечего. Он не представлял, что эдакое с ним может произойти. Миг без срочности, без цели. Такое он не планировал. Где та жизнь, что он всегда вел? Ему никуда не хотелось идти, ни о чем не хотелось думать, никто его не ждал. Как ему шагнуть в любую сторону, если все стороны одинаковы?

Потом раздался выстрел. Звук его долетел с ветром. Вот это что-то, да, инцидент, только почти незначительный, к тому же, полый чпок принесло и унесло дыханием, в нем лишь легчайший намек на опасность. Эрику не хотелось делать из мухи слона. Следом еще один выстрел, а за ним — человеческий голос провыл его имя чередой хореических тактов, надтреснуто, и мурашки по коже от этого побежали больше, чем от стрельбы.

Эрик Майкл Пэкер

Значит, личное. Тогда он вспомнил о револьвере за поясом. Взял его в руку, изготовился нырнуть за пару мусорных баков на тротуаре за спиной. За ними укрытие, блиндаж, из которого можно ответить огнем. А Эрик стоял на месте, посреди улицы, оборотясь к заколоченному зданию. Раздался еще один выстрел — едва-едва, чуть не потерялся в пронизывающем ветре. Вроде стреляли с третьего этажа.

Эрик посмотрел на револьвер. Тупорылый, маленький, грубый, с широким спусковым крючком. Эрик проверил барабан, всего на пять патронов. Но он знал, что выстрелы считать не станет.

Он приготовился к стрельбе — закрыл глаза, представил свой палец на крючке в тугих подробностях, а кроме того, увидел человека на улице, себя самого, через длинный фокус, лицом к мертвой трущобе.

Но к нему что-то двигалось — мимо левого плеча. Он открыл глаза. Человек на велосипеде, курьер — с голой грудью, проплыл мимо, широко раскинув руки, и плавно свернул на Вестсайдскую трассу, к северу мимо терминалов и пирсов.

Эрик понаблюдал за ним, слегка дивясь зрелищу. Затем повернулся и выстрелил. Он стрелял в само здание как дом. Такова его мишень. Очень разумно. Сразу решается масса проблем — кто, в кого.

Ему ответили выстрелом.

Почему люди трактуют выстрелы как взрывы петард или выхлопы машин? Потому что на людей не охотятся убийцы.

Эрик приблизился к зданию. Дверь на засове выглядела прочной, обитый железом проем. Эрик подумал было выстрелить в замок чисто из глупой кинематографичности этого жеста. Он знал, что есть и другой вход, поскольку висячий замок на засове нельзя открыть изнутри. Слева от него — ворота, какие-то ступеньки, проулок, узкий и засранный собаками, привел в замусоренный внутренний двор здания.

Он толкнулся в старую перекошенную дверь. Тренировала его женщина, из Латвии. Дверь подалась, и он вошел в здание. Задний коридор — болото. В вестибюле, если его еще можно так назвать, кто-то валялся — мертвый или спал, — и Эрик обошел тело и поднялся

на два лестничных пролета под тусклыми лампочками, что одиноко раскачивались на проводке.

Верхние этажи продувал ветер. Площадки завалены кусками штукатурки, разнообразными наносами, илом и мусором. На третьем этаже он переступил через чьи-то недоеденные обеды в пенопластовых лотках, в них — аккуратно загашенные бычки, от которых остались одни фильтры. Дверей не осталось, кроме одной, и ветер задувал в незаделанные оконные проемы. Эрику это понравилось, как ветер стучит по комнатам и коридорам. И две крысы понравились, они перемещались к еде поблизости. Крысы — это хорошо. Отличные крысы, правильные, тематически уместны.

Эрик стоял у той квартиры, где сохранилась дверь. Спиной к стене стоял, плечом опираясь о косяк. Револьвер держал у самого лица дулом вверх и смотрел прямо перед собой — в продутый ветром коридор, не видя всего с максимальной ясностью, но вдумываясь в этот миг.

Затем повернул голову и посмотрел на револьвер в паре дюймов от себя.

Он говорил:

— У меня было оружие, с которым можно поговорить. Чешское. Но я его выбросил. Иначе стоял бы тут, пытаюсь симитировать голос Торваля, чтобы механизм мне ответил. Вышло так, что код я знаю. Так и вижу себя — стою и шепчу «Нэнси Бабиш Нэнси Бабиш» голосом Торваля. Его имя я могу произнести, потому что он мертв. То была целая система вооружения, не просто пистолет. А ты — просто. Я видел сотню таких ситуаций. Человек, револьвер и закрытая дверь. Мама когда-то водила меня в кино. Водила меня в кино после того, как умер папа. Так общались родитель с ребенком. И я видел две сотни ситуаций, когда человек стоит у запертой комнаты с пистолетом в руке. Мама всякий раз могла сказать, как зовут актера. Стоит так же, как я сейчас, спиной к стене. Вытянулся в струнку, держит пистолет так же, как я, дулом вверх. Затем разворачивается и пинком вышибает дверь. Та всегда на запоре, и он всегда выбивает ее ногой. Были старые фильмы и новые. Неважно. Вот дверь, вот пинок. Она знала даже среднее имя актера, когда и на ком был женат, как называется дом престарелых, где дремлет в кресле его брошенная мать. Одного пинка всегда хватает. Дверь моментально распаивается. Темные очки я забыл в машине или в парикмахерской. Вот я стою и впустую шепчу себе под нос *Нэнси Бабиш, ебаная ты пизда*. А с другой стороны — что потом? Стоит ему произнести ее имя, как механизм, может, активизируется на определенное время — или пока весь боекомплект не израсходуется. Потому что я не могу себе представить, как ты твердишь ее имя, ведя стрельбу очередями в переулке, набитом невыразительными убийцами. Ох уж эти мамочки с их дневными киносеансами! Мы тогда сидели в пустых залах, где я ей говорил, что невозможно пнуть дверь однажды и рассчитывать, что она распаивается. Мы не говорим о хлипких сетчатых дверях в неблагополучных кварталах, где убийства скорее случайны — не о таком вот кино. Я был маленький и слегка педантичный, но по-прежнему убежден, что сомневался по делу. Он не произнес мое имя, а я не произнес его. Но раз теперь он умер, могу. Я немного знаю по-чешски, полезно в ресторанах и такси, но язык этот никогда не учил. Я мог бы тут встать и перечислить все языки, что изучал, но смысл? Мне никогда не нравилось помнить, возвращаться во времени, заново просматривать день, или неделю, или всю жизнь. Крушить и потрошить. Кишки на кулак мотать. Власть эффективнее всего, если за нее не цепляется память. Прямая, как шомпол. Когда бы такое ни происходило у родителя с ребенком, я ей, бывало, говорил, что снявшие это кино люди и понятия не имеют, как трудно в реальной жизни выбить пинком прочную деревянную дверь. Я их в парикмахерской оставил, не? Титан и неопластик. Потому что на какое бы кино мы ни пошли — триллер про шпионов, вестерн, что-то про любовь, комедия, — там всегда у запертой комнаты стоял человек с пистолетом, готовый пинком вышибить дверь. Сначала мне было плевать на их отношения. А теперь думаю, они поразительные вещи творили, поскольку зачем еще ему шептать ее имя своему пистолету? Власть эффективнее всего, когда ничего не различает. Даже в фантастике — вот он стоит со своим лучевым пистолетом и пинает дверь. Какая разница между

защитником и убийцей, если оба вооружены и меня ненавидят? Вижу его тушу на ней. *Нэнси Нэнси Нэнси*. Или он произносит ее имя полностью, потому что так обращается к своему пистолету. Интересно, где она живет, о чем думает, когда едет в автобусе на работу. Я могу тут стоять и видеть, как она выходит из ванной, вытирая волосы. От женщин босиком на паркете у меня подкашиваются ноги и я схожу с ума. Я знаю, что беседую с револьвером, который не может мне ответить, но как она снимает одежду, когда раздевается? Я думаю, встречались они у нее или у него, чтобы заняться тем, чем занимались. Ох эти мамыши, целыми днями в кино. Мы ходили в кино, потому что пытались научиться, как быть наедине друг с другом. Нам было холодно, мы потерялись, а душа моего отца старалась отыскать нас, поселиться в наших телах, да не хочу я твоего сочувствия, не нужно оно мне. Я могу ее себе представить в горячке секса, невыразительную, поскольку она действует, как Нэнси Бабич, на лице ничего. Я произношу ее имя, а не его. Раньше мог звать его по имени, а теперь не могу, ибо знаю, что между ними было. Думаю, его снимок в рамочке у нее на комод. Сколько раз двоим нужно поебаться, прежде чем один заслужит смерти? Стою тут, а в голове сплошная ярость. Иными словами, сколько раз мне следует его убить? Ох эти мамыши, которые принимают брехню про то, что дверь можно вышибить пинком. Что есть дверь? Подвижная конструкция, обычно поворачивается на петлях, перекрывает собою проход и требует громкого и продолжительного стука, пока наконец ее не удастся распахнуть.

Он отошел от стены и повернулся, разместившись непосредственно перед дверью. А потом пнул ее, пяткой вперед. Она открылась сразу.

Вошел он, стреляя. Не целясь и стреляя. Просто палил. Пускай предьявится.

Стен не было. Это первое, что он увидел в шатком свете. Он смотрел в порядочного объема пространство, всюду заваленное стенным мусором. Попробовал засечь объект. Драная тахта, никем не занятая, поблизости — велотренажер. Он увидел тяжелый металлический стол, винтажнo-линкорский, весь в бумагах. Увидел остатки кухни и ванной — там, где раньше стояли главные приспособления, теперь грубо зияли пустоты. Оранжевая кабинка мобильного туалета со стройплощадки, высотой футов семь, вся закопченная и мятая. Увидел кофейный столик с незажженной свечой в блюде, а вокруг боевого пистолета «Мк.23»,³¹ матовой отделки, общей длиной девять с половиной дюймов, снабженного лазерным целеуказателем, раскатился десяток монет.

Дверь туалета открылась, вышел мужчина. Эрик снова выстрелил — безразлично, его отвлекла наружность человека. Босиком, в джинсах и футболке, голова и плечи в банном полотенце — оно наброшено на манер талита.

— Что вы здесь делаете?

— Вопрос не в этом. На вопрос, — сказал Эрик, — отвечать вам. Зачем вы хотите меня убить?

— Нет, и не в этом вопрос. Он для вопроса слишком легкий. Я хочу вас убить, чтобы посчитаться за кое-что в своей жизни. Видите, как просто?

Он подошел к столу и взял оружие. После чего сел на тахту, сгорбившись, подался вперед, чуть весь не потерялся под своим банным покрывалом.

— Вы не склонны к размышлениям. Я сознательно живу в голове, — сказал он. — Дайте сигарету.

— Дайте выпить.

— Вы меня узнаете?

Он был щупл и небрит, с таким внушительным оружием в руках смотрелся нелепо. Пистолет затмевал его, несмотря на драму полотенца на голове.

³¹ «Мк.23» — модель пистолета немецкой оружейной фирмы «Хеклер-унд-Кох», разработанная в начале 1990-х гг. для Командования сил спецопераций США, принят на вооружение в 1996 г.

— Я вас не очень вижу.

— Сядьте. Поговорим.

Эрику не хотелось садиться на велотренажер. Конфронтация тогда выродится в фарс. Он увидел литой пластмассовый стул, конторский, и перенес к кофейному столику.

— Да, я бы не прочь. Сесть и поговорить, — сказал он. — У меня был долгий день. Вещи, люди. Пора сделать философскую паузу. Поразмышлять, да.

Мужчина выстрелил в потолок. Его напугало. Не Эрика; второго, объект.

— Вы не знакомы с этим оружием. Я из него стрелял. Это серьезное оружие. А вот это. — Он помахал револьвером. — Думаю устроить тир у себя в квартире.

— Почему не в конторе? Ставить к стенке и расстреливать.

— Вам же известна контора. Правильно? Вы бывали в конторе.

— Скажите мне, кто я, по-вашему.

От самого кошмара этой его нужды, от его раболепного ожидания стало ясно — следующее слово Эрика или слово за ним могут стать для него последними. Они смотрели друг на друга поверх столика. Ему почти не пришло в голову, что можно выстрелить первым. Не то чтобы он помнил, остался ли в барабане хоть один патрон.

Он сказал:

— Не знаю. А вы кто?

Мужчина снял полотенце с головы. Для Эрика это ничего не значило. Открылся высокий лоб. Он увидел разрезанные волосы, висят нематыми ленточками, тонкие и вялые.

— Может, имя бы сообщили.

— Вы не знаете моего имени.

— Имена я знаю больше лиц. Скажите имя.

— Бенно Левин.

— Липовое.

Мужчину это огорошило.

— Липовое. Фальшивка.

Он смешался и смутился.

— Фальшивка. Ненастоящее. Но мне кажется, я вас сейчас узнаю? Вы стояли у банкомата на улице где-то в районе полудня.

— Вы меня видели.

— Смутно знакомы. Не знаю, почему. Может, вы у меня когда-то работали. Ненавидите меня. Хотите меня убить. Прекрасно.

— Все в наших жизнях, вашей и моей, привело нас к этому мгновению.

— Прекрасно. Я бы сейчас не отказался от большого холодного пива.

Хотя объект был облезл, тощ, весь в пепле отчаяния, глаза его загорелись. От мысли, что Эрик его узнал, ему добавилось храбрости. Не столько узнал, сколько просто видел. Видел и протянул ниточку, слабенькую, через уличную толпу. В общем отчаянии этого человека она едва не потерялась — эта внимательность, не хищная, не смертоносная.

— Сколько вам лет? Мне интересно.

— Думаете, таких, как я, не бывает?

— Сколько?

— Мы бываем. Сорок один.

— Простое число.

— Но неинтересное. Или мне уже исполнилось сорок два, что вероятно, поскольку я не слежу, поскольку чего ради?

По коридорам дул ветер. Похоже, объект замерз, поэтому снова накрыл голову полотенцем, концы спустились на плечи.

— Стал я для себя задачей. Так говорил Блаженный Августин. И в этом недуг мой.³²

³² «Исповедь» (397–398) епископа Гиппонского, философа, проповедника, христианского богослова и политика Августина Аврелия (354–430), книга X, гл. 33, § 50, пер. М. Е. Сергеевко.

— Для начала. Важно это про себя понимать, — сказал Эрик.

— Я не про себя. Про вас. Вся ваша сознательная жизнь противоречит себе. Потому вы и готовите собственный крах. Зачем вы здесь? Вот первое, что я вам сказал, когда вышел из туалета.

— Туалет я заметил. В числе первых. А отходы куда?

— Под кабинкой дыра. Я пробил дыру в полу. После чего разместил туалет так, чтобы одна дыра совпадала с другой.

— Дыры интересные. Про дыры книги пишут.

— Про говно их тоже пишут. Но мы хотим знать, зачем вам по собственной воле входить в дом, где есть тот, кто хочет вас убить.

— Ладно. Скажите мне. Зачем я здесь?

— Это вы мне должны сказать. Какая-то неожиданная поломка. Удар по вашему самоуважению.

Эрик задумался. Голова мужчины за столиком опустилась, оружие он держал между колен, стискивал обеими руками. Поза терпения и задумчивости.

— Иена. Я не смог вычислить иену.

— Иена.

— Я не смог нанести ее на график.

— И потому все обрушили.

— Иена меня избегала. Такого никогда не бывало. Я смалодушничал.

— Это потому, что у вас мало души. Дайте сигарету.

— Я не курю сигареты.

— Гигантские амбиции. Презрение. Я могу все перечислить. Могу назвать аппетиты, людей. Кого-то обижать, кого-то игнорировать, кого-то преследовать. Самодостаточность. Никаких угрызений. Вот ваши таланты, — грустно сказал он, без иронии.

— Что еще?

— Кости зудят.

— Что?

— Скажите, что я неправ.

— Что?

— Предчувствие безвременной кончины.

— Еще что?

— Что еще. Тайные сомнения. Сомнения, которые вы и не признаете никогда.

— Вам кое-что известно.

— Я знаю, что вы курите сигары. Я знаю все, что когда-либо о вас было сказано или написано. Я знаю то, что читаю у вас на лице — много лет проведя в изучении.

— Вы на меня работали. Что делали?

— Анализ валют. Я работал с батом.

— Бат интересный.

— Я любил бат. Но ваша система настолько микротаймирована, что я не успевал. Не мог его найти. Настолько он бесконечно мал. Я стал ненавидеть свою работу — и вас, и все цифры у себя на экране, и каждую минуту своей жизни.

— В бате сто сатангов. Как вас зовут на самом деле?

— Вы вряд ли меня узнаете.

— Скажите имя.

Он откинулся на спинку и глянул в сторону. Выдать имя — это же, по сути, разгром, казалось ему, самый интимный провал характера и воли, однако он до того неотвратим, что сопротивляться нет смысла.

— Шитс. Ричард Шитс.

— Ничего мне не говорит.

Он произнес эти слова в лицо Ричарду Шитсу. *Ничего мне не говорит.* Ощутил в себе след бывшего затхлого наслаждения — отпустить замечание как бы между прочим, от него собеседник себя ощутит совсем никчемным. Настолько незапоминающаяся мелочь, а от нее такие возмущения.

— Скажите мне. Вы воображаете, будто я крал у вас идеи? Интеллектуальную собственность.

— Что человек воображает? Сто разного в минуту. Воображаю я что-то или нет, оно для меня реально. У меня синдромы из мест, где они реальны, например, малайзийские. То, что я воображаю, становится фактом. У них время и пространство фактов.

— Вы меня вынуждаете взывать к голосу разума. Мне это не нравится.

— Меня серьезно беспокоит, что мой половой орган утапливается в мое тело.

— Но он не утапливается.

— Тонет в моем животе.

— Но он не тонет.

— Тонет или не тонет, я знаю — тонет.

— Покажите.

— Мне вовсе не нужно смотреть. Есть народные верования. Есть эпидемии, они случаются. Люди тысячами, реально боятся и заболевают.

Он закрыл глаза и выстрелил в половицы между ног. Глаз не открывал, пока эхо выстрела не затихло на этаже.

— Ладно. Случаются такие люди, как вы. Я это понимаю. Я в это верю. Но не насилие. Не пистолет. Пистолет — это совсем неправильно. Вы не склонны к насилию. Насилие должно быть реально, основано на реальных мотивах, на тех силах мира, которые заставляют нас хотеть защищаться или принимать агрессивные меры. Преступление, которое вы желаете совершить, — дешевая имитация. Затхлая фантазия. Люди это делают, потому что так поступали другие. Еще один синдром, им заражаешься у других. У него нет своей истории.

— Это все история. — Он сказал: — Все это — история. Вы непристойно и оголтело богаты. Не рассказывайте мне о своей благотворительности.

— Я не занимаюсь благотворительностью.

— Я знаю.

— Вы не презираете богатых. Такого в вас нет.

— А что во мне есть?

— Смятение. Потому-то вы и нетрудоспособны.

— Почему?

— Потому что вам хочется кого-то убивать.

— Я не поэтому нетрудоспособен.

— Тогда почему?

— Потому что от меня воняет. Понюхайте меня.

— Понюхайте вы меня, — сказал Эрик.

Объект задумался.

— Даже когда вы самоуничтожитесь, вам будет хотеться еще большего провала — больше потерять, умереть больше других, вонять больше других. В древних племенах вождь, уничтожавший своей собственностью больше, чем другие вожди, был могущественнее всех.

— Что еще?

— У вас есть все, ради чего жить и умирать. У меня нет ничего и ни того, ни другого. Вот еще одна причина вас убить.

— Ричард. Послушайте.

— Я хочу, чтобы меня знали как Бенно.

— Вы неуравновешенны, поскольку вам кажется, что вы не играете никакой роли, что вам нет места. Но следует спросить себя, кто в этом виноват. Поскольку на самом деле вам в этом обществе ненавидеть почти что нечего.

От этого Бенно рассмеялся. В глазах его вспыхнула дичинка, он огляделся, трясаясь и

смеясь. Смех был безрадостный, тревожный, а трясся он все сильнее. Пришлось положить оружие на столик, чтобы смеяться и трястись без помех.

Эрик сказал:

— Подумайте.

— Подумаю.

— Насилию нужна причина, истина.

Он думал о телохранителе со шрамом на лице, от которого несло ближним боем, с жестким и коренастым славянским именем, Данко, — он сражался в войнах за кровь предков. Думал о сикхе без пальца — таксисте, которого мельком заметил, когда подсел в машину к Элизе, мимоходом, совсем еще в начале дня, жизни, времени чуть ли не незапамятном. Думал об Ибрагиме Хамаду, его собственном шофере, которого пытали из-за политики, веры, клановой ненависти, о жертве глубоко укоренившегося насилия, что подхлестывали духи предков его врагов. Думал даже об Андре Петреску, кондитерском террористе, о пирожных в рожу и ударах, что достаются взамен.

Наконец он подумал о горевшем человеке и представил себя снова там, на Таймс-сквер — вот он смотрит на тело в огне, или в это тело, или сам в огне и смотрит наружу сквозь бензин и пламя.

— На свете нет ничего, кроме других людей, — сказал Бенно.

Ему было трудно говорить. Слова взрывались у него на лице — не столько громко, сколько импульсивно, выпаливались под давлением.

— У меня как-то раз была такая мысль. Мысль всей моей жизни. Меня окружают другие люди. Сплошь купи-продай. Сплошь давайте пообедаем. Я подумал: поглядите на них и поглядите на меня. Сквозь меня на улицу льется свет. Я, как это говорится, проницаем для видимого излучения.

Он широко расставил руки.

— Я подумал обо всех остальных. Подумал, как они стали теми, кто есть. Сплошь банки и автостоянки. Сплошь авиабилеты в компьютерах. Сплошь рестораны, и в них сплошь люди, и сплошь болтают. Сплошь подписывают копии счета. Сплошь вынимают копию счета из кожаной папочки, подписывают ее, отделяют копию от счета и кладут кредитку в бумажник. Одного этого бы хватило. Сплошь у людей личные врачи, которые заказывают за них анализы. Уже этого, — сказал он. — Я беспомощен в их системе, которая для меня бессмысленна. Вы хотели, чтобы я стал беспомощным роботом-солдатом, а я смог стать лишь беспомощным.

Эрик сказал:

— Нет.

— Сплошь женские туфли. Сплошь все с именами. Сплошь люди в скверике за библиотекой, беседуют на солнышке.

— Нет. У вашего преступления нет совести. Вас к нему вынудила не деспотическая общественная сила. Как же я ненавижу взывать к голосу разума. Вы не против богатых. Все за богатых. У всех до богатства десять секунд. Или все так считают. Нет. Преступление — у вас в голове. Еще один дурень расстреливает столовку, потому что потому что.

Он посмотрел на «Мк.23» на столике.

— Пули дырявят стены и пол. Так бессмысленно и глупо, — сказал он. — Даже ваше оружие — фантазия. Как оно называется?

Объект выглядел оскорбленным и преданным.

— Что за устройство примыкает к предохранительной скобе? Как называется? Что оно делает?

— Хорошо. Мне недостает мужественности знать все эти имена. Эти имена знают мужчины. У вас опыт мужественности есть. Я так далеко загадывать не умею. Это единственное, на что я способен, чтоб быть личностью.

— Насилию нужно бремя, цель.

Эрик вжал дуло револьвера, еще как вжал, в левую ладонь. Пытался мыслить ясно.

Подумал о начальнике своей службы безопасности, который распростерся на асфальте, в его жизни осталась лишь секунда. Подумал об остальных за все годы вглубь, смутных и безымянных. Его обуяла огромная осознанность раскаяния. Она текла сквозь него, называлась совестью, и странно, до чего мягким был спусковой крючок под пальцем.

— Что вы делаете?

— Не знаю. Может, и ничего, — сказал он.

Он посмотрел на Бенно и нажал на спуск. Понял, что в барабане оставался один патрон, примерно в тот же миг, когда выстрелил, на кратчайшее мгновение раньше, слишком поздно, чтобы это что-то значило. Выстрел пробил дыру в его ладони.

Он сидел, опустив голову, уже без всяких мыслей, и чувствовал боль. Руке было жарко. Вся ошпаренная, сплошь вспышка. Она казалась отдельной от всего остального его, извращенной живой в собственном маленьком побочном сюжете. Пальцы скрючило, средний подергивался. Ему показалось, он чувствует, как давление обрушилось до уровня шока. По обеим сторонам руки текла кровь, по ладони расползлось темное пятно, ожог.

Он зажмурился от боли. Никакого смысла, но в каком-то смысле он был — интуитивно, как жест сосредоточения, его непосредственное участие в деятельности гормонов, притупляющих боль.

Человек за столиком скрючился под своим покровом. Похоже, ему больше ничего не осталось, нигде, что стоит делать, о чем стоит думать. Слова падали из полотенца, или звуки, и он накрыл одну руку другой, согнутая прижимала неподвижную, плоскую, другую руку, опознавая ее и жалея.

Это боль и это страдание. Он не был уверен, что страдает. Он был уверен, что страдает Бенно. Эрик смотрел, как он накладывает холодный компресс на изувеченную руку. То не был компресс, и он был не холоден, но они молча договорились называть его так, какое-никакое паллиативное действие.

Эхо выстрела электрически звенело в его предплечье и запястье.

Бенно заботливо стянул узел компресса у него под большим пальцем — два носовых платка, которые он долго скручивал вместе. У запястья предплечье перетягивал жгут из тряпки и карандаша.

Он вернулся на тахту и стал рассматривать Эрика, охваченного болью.

— По-моему, нам надо поговорить.

— Мы говорим. Мы разговаривали.

— У меня чувство, что я знаю вас лучше, чем кто угодно. У меня бывают жуткие прозрения, истинные или ложные. Раньше я смотрел, как вы медитируете, онлайн. Лицо, спокойная поза. Смотрел и не мог перестать. Иногда вы медитировали часами. А это лишь засыало вас еще глубже в ваше замерзшее сердце. Я наблюдал каждую минуту. Вглядывался в вас. Я вас знал. Еще одна причина вас ненавидеть — вы могли сидеть у себя в келье и медитировать, а я нет. Келья-то у меня была. Но у меня никогда не возникало одержимости тренировать разум, опустошать его, думать лишь одну мысль. А потом вы закрыли сайт. Когда вы его закрыли, я, не знаю, умер, еще надолго после этого.

В лице была мягкость, сожаление, что приходится упоминать ненависть и бессердечие. Эрику хотелось отреагировать. Боль плющила его, уменьшала, думал он, сокращала в размерах, и личность, и ценность. Дело не в руке, дело в мозгу, но еще и в руке. Рука ощущалась омертвелой. Ему казалось, что он чует вонь миллиона умирающих клеток.

Ему хотелось что-то сказать. Снова задул ветер — уже сильнее, расшевелил пыль этих рухнувших стен. Звучало как-то интригующе — ветер в помещении, край чего-то, будто что-то незащитно, вывернуто наизнанку, по коридорам метет бумажки, где-то рядом захлопнулась дверь, потом снова распахнулась.

Он сказал:

— У меня асимметричная простата.

Голос его едва прозвучал. Пауза повисла на полминуты. Он чувствовал, что объект

внимательно его изучает, этот другой. Ощущалась теплота, человеческое участие.

— У меня тоже, — прошептал Бенно.

Они посмотрели друг на друга. Еще одна пауза.

— Что это значит?

Бенно сколько-то покивал. Вполне доволен — сидит тут и кивает.

— Ничего. Это не значит ничего, — сказал он. — Безвредно. Безвредная вариация. Не о чем беспокоиться. В вашем-то возрасте к чему волноваться?

Эрик не думал, что ему когда-нибудь может стать так легко, когда услышал эти слова от человека с тем же недугом. Его обуяло благополучие. Старая напасть исчезла, некое полупридушенное знание, что не отпускает и самую праздную мысль. Платки все пропитались кровью. На Эрика опускался покой, некая сладость. В здоровой руке он по-прежнему держал револьвер.

Бенно сел, кивая под покровом полотенца.

Он сказал:

— Надо было слушать свою простату.

— Что?

— Вы пытались предсказать движения иены, срисовывая паттерны у природы. Да, разумеется. Математические свойства древесных колец, подсолнечных семечек, ветвей галактических спиралей. Я этому с батом научился. Я любил бат. Любил перекрестные гармонии природы и данных. Этому вы меня научили. Как сигналы пульсара в глубочайшем космосе следуют классическим числовым последовательностям, что, в свою очередь, может описывать флуктуации той или иной акции или валюты. Вы мне это показали. Как рыночные циклы могут быть равнозначны временным циклам размножения кузнечика, созревания пшеницы. Эту форму анализа вы сделали до ужаса, до садизма точной. Но по пути кое-что забыли.

— Что?

— Важность кособокого, того, что чуть перекошено. Вы искали равновесия, красивого баланса, равных долей, равных сторон. Я это знаю. Я знаю вас. А надо было следить за всеми судорогами и причудами иены. За тем, как она дергается. За неправильностями.

— За отклонениями.

— Ваше тело, простата — вот ответ.

В мягком рассуждении Бенно не было ни следа отповеди. Вероятно, он прав. В том, что он говорил, имелось здоровое зерно. Тут есть жесткий смысл, хоть наноси на график. Может, в конце концов из него выйдет достойный убийца.

Он обогнул столик и приподнял платки посмотреть на рану. Посмотрели оба. Рука одеревенела — грубая деталь из картона, у костяшек разодранные вены, сереют. Бенно подошел к столу и нашел бумажные салфетки из закуской. Вернулся к кофейному столику, снял окровавленный компресс и приложил салфетки к ране с обеих сторон. Отвел свои руки — напряженно, в ожидании. Салфетки прилипли. Он стоял и ждал, пока не удостоверился, что не упадут.

Немного посидели, глядя друг на друга. Время висело в воздухе. Бенно подался вперед над столиком и взял у него из руки револьвер.

— Мне все равно вас нужно застрелить. Я готов обсуждать. Но для меня жизни не будет, если я этого не сделаю.

Боль была всем миром. Рассудок не мог отыскать точки вне ее. Он слышал боль, слышал ее статику в руке и запястье. Снова прикрыл глаза, кратко. Он чувствовал, как его держат во тьме, но не только, еще и за ее пределами, на освещенной внешней поверхности, на другой стороне, он принадлежал обеим, ощущал обе, был собой и видел себя.

Бенно встал и зашагал. Не находил себе места, босиком, с оружием в обеих руках, и шагал он вдоль заколоченных досками окон в северной стене, переступал электропроводку и брустверы из штукатурки и древесных плит.

— Вы что, никогда не ходите через сквер за библиотекой, не видите, как люди там

сидят на стульчиках и пьют за этими столиками на террасе после работы, не слышите, как их голоса смешиваются в воздухе, — и вам разве не хочется их убить?

Эрик задумался. Потом сказал:

— Нет.

Мужчина повернул обратно мимо остатков кухни, остановился и отогнул неприбитую доску, выглянул на улицу. Сказал что-то в ночь, затем пошагал дальше. Его потряхивало, он пританцовывал на ходу, на сей раз бормотал что-то слышимое о сигарете.

— У меня корейский приступ паники. Это оттого, что я столько лет сдерживал гнев. А теперь хватит. Вам надо умереть во что бы то ни стало.

— Я мог бы вам сказать, что у меня за день ситуация изменилась.

— У меня синдромы, у вас комплекс. Икар падает. Вы сами с собой так поступили. Плавитесь на солнце. К смерти вам падать три с половиной фута. Не подвиг, а?

Теперь он стоял за спиной Эрика, и неподвижно, и дышал.

— Что с того, что у меня между пальцами на ногах живет грибок и со мной разговаривает. Что с того, что этот грибок мне велел вас убить, что с того, что ваша смерть оправдана вашим местом на земле. Пусть хоть паразит живет у меня в мозгу. Что с того. Он передает мне шифровки из открытого космоса. Что с того, что преступление реально, раз вы та фигура, чьи мысли и поступки воздействуют на всех, на людей, повсюду. На моей стороне история, как вы ее называете. Вы должны умереть за то, как думаете и действуете. За свою квартиру и за то, сколько вы за нее заплатили. За свои ежедневные медосмотры. Хотя бы за это. Медосмотры каждый день. За то, сколько у вас было и сколько вы потеряли, в равной мере. За потерю не меньше, чем зажитое. За лимузин, который вытесняет воздух, нужный людям в Бангладеш, чтобы дышать. Хотя бы за это.

— Не смешите меня.

— Не смешу вас.

— Вы только что это придумали. Вы ни минуты жизни не потратили на беспокойство за других.

Объект охолодел, он это заметил.

— Хорошо. Но воздух, которым дышите вы. Хотя бы за него. За мысли, что у вас бродят.

— Я мог бы вам сказать, что мысли у меня эволюционировали. У меня изменилась ситуация. Это поменяло бы дело? Вероятно, и не следовало бы менять.

— Не меняет. Но если б у меня сейчас оказалась сигарета, могло бы. Одна сигарета. Одна затяжка. Тогда, наверное, мне бы не пришлось в вас стрелять.

— А есть грибок, который с вами разговаривает? Я серьезно. Люди слышат разное. Бога слышат.

Он не шутил. Он серьезно. Он хотел не шутить, хотел слышать все, что скажет этот человек, до конца выслушать бесформенное повествование о его распаде.

Бенно обошел столик и рухнул на тахту. Старый револьвер отложил, к своему передовому оружию присмотрелся. Может, передовое, может, военные сдали его на слом днем-другим раньше. Он натянул полотенце пониже на лицо и прицелился в Эрика.

— Все равно вы уже мертвы. Вы же как уже мертвый. Как кто-то мертвый уже сто лет. Много веков как мертвый. Короли мертвые. Монархи в пижамах, жрут баранину. Я когда-нибудь в жизни употреблял слово «баранина»? На ум взбрело, ниоткуда, баранина.

Эрик жалел, что не пристрелил собак, своих борзых перед тем, как утром выйти из квартиры. Приходило ли ему это в голову, леденящим предвидением? В тридцатифутовом аквариуме, выложенном кораллами и морским мхом, встроенном в стену из отпескоструенных стеклянных блоков, у него плавала акула. Мог бы оставить распоряжения помощникам — перевезти акулу на побережье Джерси и выпустить в море.

— Я хотел, чтобы вы меня исцелили, спасли меня, — сказал Бенно.

Из-под кромки полотенца глаза его сияли. Упирались в Эрика, опустошительно. Но столкнулся он не с обвинением. В них читалась мольба, с обратной силой, надежда и нужда в

руинах.

— Я хотел, чтобы вы меня спасли.

В голосе звучала ужасная интимность, близость такого чувства и опыта, которым Эрику нечего было противопоставить. Ему стало грустно за этого человека. Что за одинокая преданность, и ненависть, и разочарование. Человек знал его так, как никогда не знал никто другой. Он сидел обмякнув, пистолет нацелен, но даже смерть, которую он считал настолько необходимой для собственного избавленья, ничего бы тут не сделала, ничего не изменила. Эрик подвел этого кроткого и всеми брошенного человека, яростного, этого психа, и подведет его снова, а потому Эрик отвел взгляд.

Посмотрел на часы. Так вышло — он глянул на часы. Вот они на запястье, ремешок крокодиловой кожи, между салфетками, прилипшими к ране, и жгутом из желтого карандаша. Только часы показывали не время. Там было изображение, лицо на стекле — его лицо. Это значило, что он ненароком активировал электронную камеру — может, когда выстрелил в себя. Приборчик до того микроскопически утонченный, что почти чистая информация. Чуть ли не метафизика. Она работала в корпусе часов, собирала изображения в непосредственной от себя близости и передавала на стекло.

Он повернул руку, и лицо исчезло — его сменил болтавшийся над головой провод. Следом возник трансфокаторный образ: жучок на проводе, медленно ползет. Эрик присмотрелся — жвала и надкрылья, его захватила красота насекомого, столь детализированная и блестящая. Затем что-то вокруг изменилось. Он не знал, что это может означать. Что это может означать? Осознал, что ему это ощущение уже известно, тонко, оно и близко не такое плотное и текстурное, а изображение на экране теперь было телом, ничком лежащим на полу.

Кровь притихла, пауза в бытии.

В непосредственном поле зрения никаких тел не было. Эрик подумал о теле, которое чуть раньше видел в вестибюле, но как экран может показывать изображение того, что вне досягаемости камеры?

Он взглянул на Бенно, задумчивого и далекого.

Чье тело и когда? Что, все миры объединились, все возможные состояния явились сразу?

Он подвигал рукой, распрямляя и сгибая ее, поворачивая часы в шесть разных сторон, но тело мужчины, снятое дальним планом, не покидало экран. Он поднял голову и посмотрел на жучка, который со своей особой медлительностью перемещался вниз по изгибам и швам провода старым идиллическим шагом тупого листоеда, считая, что это дерево, и направил камеру на насекомое. Но распростертое тело осталось на экране.

Он посмотрел на Бенно. Прикрыл часы здоровой рукой. Подумал о жене. Он скучал по Элизе, хотелось с ней поговорить, сказать, что она красивая, солгать, изменить ей, пожить с ней в захудалом браке, поустраивать семейные приемы, поспрашивать, что сказал врач.

Поглядев на часы снова, он увидел салон «Скорой помощи» с капельницами и подпрыгивающими головами. Изображение продержалось меньше секунды, но сама сцена, обстоятельства были неким неземным манером знакомы. Он прикрыл часы и посмотрел на Бенно, который раскачивался взад-вперед, чуть таинственно, что-то бормоча. Глянул на стекло часов. Увидел череду сейфов, стену сейфов или отсеков, все опечатаны. Затем увидел, как одна дверь сейфа скользит в сторону. Прикрыл часы. Посмотрел на жучка на проводе. Глянув на часы снова, увидел идентификационный ярлык. Бирка дальним планом, прикрепленная к пластмассовому наручному браслету. Он знал, чувствовал, что сейчас будет наезд трансфокатором. Подумал было прикрыть часы, но не стал. И увидел бирку очень крупным планом, и прочитал надпись на ней. Мужчина Зед. Известно, что это значит. Он не знал, откуда ему это известно. Как нам вообще что-то становится известно? Откуда мы знаем, что стена, на которую мы смотрим, белая? Что значит белая? Эрик прикрыл часы здоровой рукой. Он знал, что «Мужчиной Зед» обозначают в больничных моргах тела неопознанных мужчин.

Ох черт, я умер.

Ему всегда хотелось стать квантовой пылью, превозмочь массу своего тела, мягкую ткань на костях, мышцы и жир. Был замысел жить за выданными ему пределами, в микрочипе, на диске, как данные, вихрем, сияющим верчением, сознанием, спасенным от пустоты.

Технология была на подходе — или нет. Полумиф. Естественный следующий шаг. Такого никогда не произойдет. Происходит сейчас, натиск эволюции, которому требуется лишь действенное нанесение схемы нервной системы на цифровую память. Это будет мастерский выпад киберкапитала — растянуть человеческий опыт до бесконечности и превратить его в способ корпоративного роста и инвестиций, накопления прибыли и энергичного реинвестирования.

Однако его бессмертию мешала боль. Крайне важная для его личности, слишком жизненная, такую не обогнешь, она не поддается, считал он, компьютерной эмуляции. Все, из чего он состоит, что сделало его им, вряд ли можно идентифицировать, не говоря уже о преобразовании в данные, все, что жило и варилось в его теле, повсюду, случайное, бунтарское, миллиарды триллионов всего в нейронах и пептидах, пульсирующая вена в виске, в метаниях его либидозного интеллекта. Столько всего возникло и пропало, а он вот он, давно утраченный вкус молока, слизанного с материнной груди, то, чем он чихает, когда чихает, это он, и как человек становится отражением, которое видит в пыльном окне, когда проходит мимо. Он постепенно узнал себя, непередаваемо, через собственную боль. Он уже так устал. Его с трудом завоеванная хватка мира, материальное, великое, его воспоминания, истинные и ложные, смутный недуг зимних сумерек, непереносимо бледные ночи, когда личность расплющивает недосыпом, маленькая бородавка на бедре, которую он всякий раз щупает под душем, все это он, и как намыливается, запах вогнутого бруска мыла в руке — все это делает его им, ибо он именуется аромат, миндальный крем, и как член у него подвешен, непередаваемо, и его странно слабое колено, в нем щелкает, когда он его сгибает, всё он, и еще столько всего не конвертируется ни во что высшее величайшее, в технологию разума-без-границ.

Он посмотрел на дальнюю стену — белая. Насекомое по-прежнему на проводе. Посмотрел на жучка — спускается по болтающемуся проводу. Потом снял здоровую руку с циферблата. Посмотрел на часы. Надпись не пропала с экрана, гласила «Мужчина Зед».

Оставался след фермента, старая биохимия эго, его сатурированное я. Он вообразил Кендру Хейз, телохранительницу и любовницу — вот она промывает его кишки пальмовым вином перед церемонией бальзамирования. У нее годное для этого лицо, структура черепа и оттенок кожи, клиновидные плоскости. Лицо с настенной росписи какого-нибудь погребального храма, захороненного в песке на четыре тысячи лет, где прислуживают песьеглавые боги.

Он подумал о своем начальнике финансовой службы и бесконтактной возлюбленной, Джейн Мелмен — вот она тихо мастурбирует в заднем ряду кладбищенской часовни, в темно-синем платье с затянутой талией, пока сумрачным шепотом длится служба.

Надо вот еще что учсть — он женился, когда женился, для того чтобы по себе оставить вдову. Вообразил жену, вдову — вероятно, обривает голову в знак траура по нему, не снимает черного весь год, наблюдает, как его хоронят в какой-нибудь безлюдной пустыне, издали, вместе с матерью и журналистами.

Похоронили бы его в стратегическом ядерном бомбардировщике, в его «Блэкджеке-А». И не похоронили, а кремировали, испекли, но и похоронили тоже. Он хотел соларизоваться. Чтобы самолетом управляли дистанционно, на борту — его набальзамированное тело, в костюме, галстук и тюрбане, а также трупы его собак, его шелковистых высоких русских борзых, достигает максимальной высоты, набирает сверхзвуковую скорость — и пикирует в песок, взрывает все единым болидом, остается лишь произведение лэнд-арта, искусства опаленной земли, которое будет взаимодействовать с пустыней и оставаться в бессрочном доверительном управлении под патронатом его

агентессы и душеприказчицы Диди Фэнчер, также давней возлюбленной, дабы заранее одобренные группы и просвещенные частные лица могли с почтением созерцать его согласно параграфу 501 (в) (3) Налогового кодекса США о статусе имущества, изъятого из налогового обложения.

Что сказал врач?

— Прекрасно, ничего нет, это нормально.

Может, ему, в конечном итоге, и не хотелось той жизни — начинать сызнова после банкротства, ловить такси на оживленном перекрестке, где сходным образом ловчат толпы менеджеров низшего звена, руки растопырены, туловища предусмотрительно крутятся, не пропуская ни одной стороны света. Чего такого он хотел, что бы не было посмертным? Он пиялился в пространство. Понимал, чего не хватает, хищнического импульса, ощущения огромной возбужденности, что подстегивала его все дни напролет, чистой и ошеломительной нужды быть.

Его убийца, Ричард Шитс, сидит к нему лицом. Ему этот человек уже неинтересен. В его руке содержится боль всей его жизни, целиком, эмоциональная и прочая, и он закрывает глаза еще раз. Это не конец. Он мертв в стекле своих часов, но до сих пор жив в первоначальном пространстве, ждет, когда раздастся выстрел.